

10333
1961

ეროვნული
ბიბლიოთეკა

11

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЦА

1961

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

О Р Г А Н
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Год издания пятый

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Коммунизм — наше светлое завтра 3
ЛАДО СУЛАБЕРИДЗЕ. У этой трибуны.
Стихи 5

СЕРГИ ЧИЛАЯ. Мастер грузинской прозы.
К 80-летию со дня рождения М. Джа-
вахишвили 6

МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ. Судьба
женщины. Роман. Продолжение 8

ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Новые стихи 44

ЭЛИЗБАР МАЙСУРАДЗЕ. Гардатенские
дружки. Рассказ 47

О Ч Е Р К И

ИЯ МЕСХИ. Кровное, родное 61

ИЛЬЯ МУХАДЗЕ. Завет Ленина 67

К Р И Т И К А И П У Б Л И Ц И С Т И К А

ПАВЛЕ ГУДУШАУРИ. Великий ученый и
поэт 71

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Человек и
эпоха 74 ✓

ЭТЕРИ ГАЛУСТОВА. В плену противоречий 88

Д О К У М Е Н Т Ы , П И С Ь М А , В О С П О М И Н А Н И Я

ЗАХАРИЙ ШВЕЛИДЗЕ. Студенты-больше-
вики 94

НОЯБРЬ
1961

ИЗДАТЕЛЬСТВО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ «ЗАРЯ ВОСТОКА»

67055-6

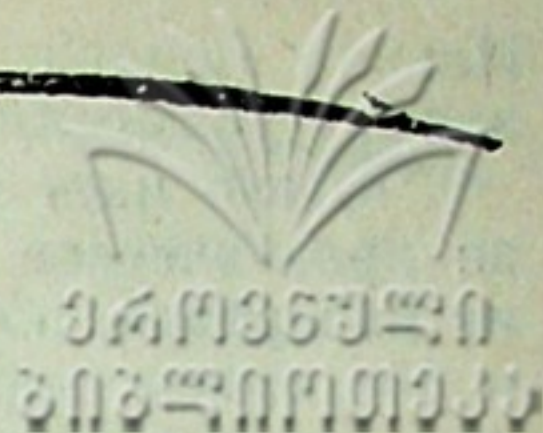


Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Редакционная коллегия:

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН, М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ,
А. КУТЕЛИЯ, В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**
Заместитель редактора Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ.

Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-44-08



Коммунизм—наше светлое завтра

Светлое здание коммунизма... Войти в него и жить в нем — извечная мечта человечества. Люди, движимые стремлением к лучшему будущему, упорно шли навстречу своей мечте, вопреки трудностям и преградам, боролись за право жить достойно Человека. И все же еще столетие назад коммунизм, в котором воплотились все лучшие идеалы человечества, его высшие нравственные принципы, был лишь призраком, бродившим по Европе. А всего через полвека в России победила социалистическая революция. В день рождения Великого Октября крепкая рабочая рука высоко подняла красное знамя. И сегодня, спустя сорок четыре года, оно победно реет над миром, а начертанные на нем слова— Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство, Счастье всех народов— зовут вперед к полному торжеству коммунизма, который будет построен нашими руками. Наше поколение войдет в его светлое и просторное здание полновластным хозяином.

И это уже не утопия. Это — реальность. Это записано в новой Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой на закончившемся в канун 44-ой годовщины Великого Октября XXII съезде КПСС.

«Мы, — как сказал о плане созидания самого передового и справедливого общества на земле Никита Сергеевич Хрущев в докладе, посвященном новой Программе партии, — видим, как его нужно построить, как оно выглядит снаружи и изнутри, какие в нем будут жить люди и что они станут делать, чтобы здание коммунизма становилось все более удобным и красивым. Тому, кто хочет знать, что такое коммунизм, мы с гордостью можем сказать: «Читайте Программу нашей партии!»

Да, читайте. Ибо это подлинный манифест коммунизма, который Никита Сергеевич удивительно точно и образно сравнил с трехступенчатой ракетой. Если ее первая ступень вырвала нашу страну из капиталистического мира, вторая — подняла к социализму, то третья — призвана вывести на орбиту коммунизма. «Это замечательная ракета, товарищи, — говорил с трибуны XXII съезда КПСС Н. С. Хрущев.— Она движется по точному курсу, проложенному гениальным Лениным, нашей революционной теорией, ее питает самая великая энергия — энергия строителей коммунизма».

XXII съезд — самый представительный из всех съездов нашей партии, съезд строителей коммунизма — прямо и определенно заявил: строительство коммунизма — наша практическая задача. Следовательно, каждый из нас своими руками должен возводить здание коммунистического общества. И тут очень хочется напомнить слова Владимира

Ильича Ленина, нередкость созвучные нашим сегодняшним настроениям, устремлениям и интересам:

«Дело идет сейчас именно о том, чтобы со всех сторон приняться за практическое возведение того здания, план которого мы уже давно начертили, почву под которое мы достаточно энергично отвоевывали и достаточно прочно отвоевали, материал для которого мы в достаточном количестве собрали и которое надо теперь, — окружив его подсобными лесами, одевшись в рабочую одежду, не боясь испачкать ее во всяких вспомогательных материалах, строго исполняя предписания руководящих практической работой лиц, — надо это здание строить, строить и строить».

Вся работа XXII съезда нашей партии была пронизана ленинскими идеями, ленинским духом.

Съезд провел огромную по объему и значению работу. Были подведены итоги всего сделанного партией и народом за минувшие годы. Эти славные свершения показали, насколько верен курс, выработанный XX съездом КПСС.

Осуждены фракционеры, отстаивавшие устарелые догмы времен культа личности, ликвидированы его последствия.

Намечены конкретные пути построения коммунистического общества. План создания его материально-технической базы рассчитан на два десятилетия.

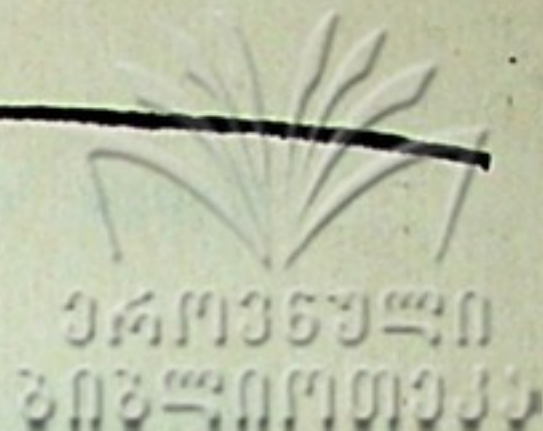
Приняты новая Программа и новый Устав Коммунистической партии Советского Союза.

В документах съезда удивительно гармонично слились научная мысль и вдохновенная мечта, точность и размах, трезвость и дерзновение. Это документы величайшего гуманизма, ибо все в них пронизано заботой о благе человека: «Все — для человека!»

Да, это поистине исторический съезд! Он призван вывести нашу страну на орбиту коммунизма. Он указывает народам мира путь к светлему будущему человечества. Это будущее — коммунизм. И мы стоим на его пороге.

Коммунистическая партия Советского Союза — ум, честь и совесть нашей эпохи — ведет народ к заветной цели.

Программа жизни нашего общества, выработанная съездом, не может не вдохновлять советских людей на новые подвиги, а советских писателей — на создание новых произведений, достойно отображающих нашу эпоху, великий подвиг строителей коммунизма. Материалы XXII съезда партии — неисчерпаемый источник вдохновения для нашей творческой интеллигенции. Недаром съезд поставил перед нашей литературой и искусством большие и ответственные задачи: укреплять связи с жизнью народа, правдиво и высокохудожественно отображать богатство и многообразие социалистической действительности, вдохновенно и ярко воспроизводить новое, подлинно коммунистическое, и обличать все то, что противодействует движению общества вперед. Такова главная линия развития нашей литературы и искусства. Их идейно-воспитательная роль и значение в формировании духовного облика человека нового мира сейчас неизмеримо возросли. Ведь нашему поколению жить при коммунизме!



Ладо Сулаберидзе

У ЭТОЙ ТРИБУНЫ

Перевод с грузинского Г. Павловской

Я здесь — и от гордости ширится сердце мое.
Трибуна как будто раздвинулась, сделалась выше.
Титов и Гагарин сегодня взойдут на нее —
И голос из космоса мир восхищенный услышит.

От этой трибуны нас путь к коммунизму ведет.
Отсюда нас к звездам уносит порыв дерзновенный.
Отсюда нас Партия учит стремиться вперед,
Сердца зажигая призывом своим вдохновенным.

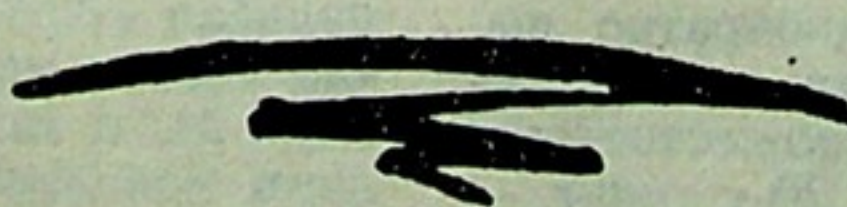
На эту трибуну поднимутся люди труда,
Взрастившие хлеб на бескрайнем целинном просторе,
И те, кто в бесплодной степи создавал города,
А в голой пустыне — шумящее синее море.

С трибуны обнимем мы наших далеких друзей —
Овеянных славой сынов героической Кубы.
Огнем всенародного гнева плеснем в палачей,
Направивших пулю в отважное сердце Лумумбы.

С трибуны пошлем мы привет африканским борцам,
Измученным детям и стойким солдатам Алжира,
И братьям-китайцам — испытанным старым друзьям
В борьбе за свободу, за дело священное мира.

Над морем голов, над потоками стройных колонн
Расплещутся блики осеннего дня золотого.

С трибуны, охваченной пламенем алых знамен,
Нам Партия скажет свое вдохновенное слово.



Мастер грузинской прозы

К 80-летию со дня рождения М. Джавахишвили

Широко известные грузинской обществу романы Михаила Джавахишвили «Белый воротник», «Обвал», («Хизаны Джако»), «Арсен Марабдели», «Судьба женщины», а также его рассказы «Чанчура», «Свадьба Курки», «Кбача опоздал», «Два приговора» и другие покоряют и привлекают удивительной силой повествования, реализмом, полнокровностью и жизненностью образов. Это умение тонко подметить и ярко изобразить характеры, прекрасный язык, привлекательная манера повествования, присущая писателю, делают автора названных выше произведений одним из лучших мастеров грузинской прозы, большим писателем-реалистом.

Вот как определяет Михаил Джавахишвили — один из основоположников новой грузинской литературы, литературы XX века — принцип реализма:

«Художественное слово, — писал он в 1926 году, — с первого дня своего рождения было реалистическим по существу — в глубочайшем и широчайшем понимании этого слова. Таково оно сейчас и таким же останется в будущем.

Реализм — стержень грузинской литературы, ее опорный столб. Реализм стоит на земле и из земли исходит. Они питают друг друга, растят и укрепляют. Отрыв от земли обязательно влечет за собой ослабление духовных сил нации. Кто утратил чувство реальности, ощущение связи с землей, у того переломан хребет и обессилены мышцы, а тело, лишённое крови и костей, обречено на смерть...»

Эти слова, пожалуй, и сегодня не утратившие своего значения, показывают, как глубоко верил М. Джавахишвили в превосходство реализма над всеми другими литературными направлениями и течениями. Он отстаивал его принципы и боролся со всякими антиреалистическими направлениями в грузинской литературе.

М. Джавахишвили неоднократно выступал против декадентства в грузинской литературе. «В художественную литературу, — писал он в 20-х годах, — вторглась болезнь дадаизма и рас-

слабляющего дух декаданса. Это явление повлекло за собой отрыв писателя от земли и народа. Вместо наблюдений над жизнью символисты проповедают какое-то обособленное мышление, ясный мир затемнили туманом. Для здорового реалиста сказка, миф, аллегория и символ имеют определенную ценность, если они тесно связаны с землей, если они жизненны и ясны, то есть, если символ вырастает на почве этого мира, а не уводит от него».

Михаил Джавахишвили — художник-реалист. В своем творчестве он отобразил все значительные этапы грузинской общественной и политической жизни XX века. Наряду с обобщенными и типизированными образами людей, раздавленных гнетом буржуазии и дворянства (Чанчура, Курка, гудца и другие), писателем созданы предельно выразительные и художественно убедительные характеры его современников, выведены передовые люди времени — стойкие борцы против царизма, революционеры.

Для того, чтобы убедиться в том, с какой точностью изобразил писатель вырождение и отмирание старого мира, достаточно вспомнить главного героя романа «Обвал» — Теймураза Хевистави. Однако здесь следует отметить, что в ранний период творчества М. Джавахишвили, ограниченный рамками критического реализма, не мог ясно увидеть те революционные тенденции новой эпохи, которые утвердились в жизни грузинского народа.

Зато в романах «Арсен Марабдели» и «Судьба женщины» во весь рост встали монументальная фигура народного героя и романтизированные образы революционеров 1905 года. На этих произведениях уже лежит печать новой эпохи, нового времени. И сам писатель признается в этом: «Октябрь изменил наши взгляды, и мы по-новому увидели и предметы и явления. Раньше я бы не написал «Арсена Марабдели» или написал совсем иначе. Вероятно, так поступили бы и замечательные мастера старшего поколения: Шалва Дадиани («Урдуми»), Нико Лордкипанидзе («С тропи-



МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ

Фото И. Шихмана
(Публикуется впервые)

нок на рельсы»), Лео Киачели («Хаки Адба»), Иосиф Гришашвили, Константин Чичинадзе, Геронти Кикодзе, Абашиели, Чумбадзе и некоторые другие».

В последующие годы Михаил Джавахишвили вступил на новый путь и все последние годы своей жизни стоял на позициях социалистического реализма. В частности, роман «Судьба женщины», отображающий бурную эпоху 1905 года, мы должны признать одним из первых произведений социалистического реализма в грузинской литературе. Михаил Джавахишвили прекрасно видел изменения, происшедшие в его творчестве, и объяснял их влиянием нового времени, новой эпохи: «Лично я должен быть особенно благодарным Октябрю. Начав писать в 1903 году, в 1908 году я прервал свою литературную деятельность и только после установления Советской власти вернулся к литературному труду, который стал моей профессией. За последние двенадцать лет я написал в двадцать раз больше, чем в первые пять. Мои сочинения переведены на семь языков и изданы более чем в 300 тысячах экземпляров (на грузинском языке почти 100 тысяч). Сейчас я пишу роман из эпохи революции 1905 года — «Судьба женщины», который печатается в «Мнатоби». За 15 лет¹ наша маленькая родина так продвинулась вперед, что в другое время этот путь мы не одолели бы и за 150 лет...

В литературе тоже произошли величайшие изменения. Исчез ядовитый декаданс, угрюмая мистика, культ сверхчеловека, индивидуализма... Появилась новая тема, новый стиль и новая речь. Сейчас сама действительность предлагает героев, они тысячами находятся в колхозах, на фабриках и заводах, в шахтах, в снегах Севера, в воздухе, на воде и под водой».

Вдохновленный и обновленный величием современности писатель отдал всю силу своего таланта людям новой эпохи, их духовному воспитанию, их художественному отображению. Назначение литературы он видел в том, чтобы верно и правдиво выражать свою эпоху и своих современников. Еще в 1926 году он писал: «Для нас литература не само-

развлечение и не развлечение для других. Она не Парнас для избранных и не пристанище бездельников. Литература прежде всего — социальное дело, а писатель — беспристрастный и неустанный слуга народа. Потому мы встали на новый путь и потому написали на своем знамени: «По новому пути, с верной надеждой, трудом и любовью». Как напоминают эти слова манифест реализма, провозглашенный Ильей Чавчавадзе в 60-х годах прошлого столетия. «На искусство и науку, — писал Илья, — мы смотрим как на средства улучшения жизни... Наука и искусство не выдумка человека от упражнений ума и не для упражнений... Они идут вперед постольку, поскольку идет вперед жизнь... Литература — показатель степени ума народа, его сознания, чувств, мышления, обычаев и просвещения...»

Большой художник и большой гуманист Михаил Джавахишвили чувствовал и видел, как открылены грузинские писатели новой жизнью, как расцвела древняя грузинская культура. И он тесно связал свою судьбу, свой писательский путь с судьбой своего народа, с новой советской эпохой. «Смешно, если бы не было так грустно, — с горечью писал М. Джавахишвили, — что гениальный Бараташвили не видел своих произведений напечатанными, а сейчас, в Советском Союзе, его стихи изданы на нескольких языках. Октябрь проложил новые пути грузинским книгам и вывел их на широчайшую арену. За несколько лет множество грузинских авторов — классиков и современных — печатаются на русском, украинском, белорусском, армянском и других языках. Несколько новых грузинских рассказов увидели свет со страниц известного французского журнала, а один из романов вышел отдельной книгой на чешском языке. Взаимообмен, взаимовлияние культур полезны обеим сторонам, и мы, конечно, должны приветствовать советского гражданина.

В этих строках, как во многих других критических статьях и выступлениях Михаила Джавахишвили, оживает образ большого писателя, настоящего советского гражданина.

С болью вспоминаем мы этого замечательного человека, так безвременно ушедшего из жизни, и испытываем величайшее удовлетворение от сознания того, что он вновь возвращен грузинской литературе и грузинскому народу.

¹ Эти строки написаны в 1936 году, т. е. 15 лет спустя после установления в Грузии советской власти.



Михаил Джавахишвили

Судьба женщины

РОМАН

Перевод с грузинского
Э. Ананишвили

Продолжение

Рис. И. Гурро

— А потому, товарищи, пойдем все сейчас в Надзаладеви и присоединимся к революционному войску, покончившему с самодержавием. Это оно вырвало у царя сегодняшний манифест, и оно же будет в дальнейшем самым лучшим, более того, единственным хранителем завоеваний революции, борцом за социализм... Да здравствует партия трудящихся!

— Да здравствует партия трудящихся! — грянула в ответ запруженная народом улица.

— Да здравствует революция!

— Да здравствует!

— Да здравствует социализм!

— Да здравствует!

Вдруг на балконе около Зураба мелькнул голубой жандармский мундир и засияли ослепительно-белые аксельбанты. Авшаров поднял руку и стоял так до тех пор, пока не стихли раскаты революционных лозунгов.

— Господа! — воскликнул он надтреснутым голосом и, дождавшись полной тишины, продолжал: — Господа! Наместник его императорского величества граф Воронцов-Дашков поздравляет всех вас с высочайшей милостью и выражает глубокое убеждение, что вы окаже-

тесью достойными монаршего благоволения. Он надеется, что вы разумно воспользуетесь дарованными вам правами, не употребите их во зло и не преступите границы, за которой кончается свобода и наступает беззаконие. С утра в городе нарушен порядок, главная городская артерия закрыта для движения, и это причиняет чрезвычайные неудобства. Поэтому я прошу вас, господа, освободить Головинский проспект и избрать для осуществления свободы слова и собраний какое-либо иное место. Да здравствует наш обожаемый государь-император, даровавший России эти свободы! Ура-а-а!

Одинокий выкрик Авшарова потонул в гробовом молчании народа. Молчание это было оскорбительнее для «обожаемого монарха», чем слова ненависти и яростная брань, готовые сорваться со всех уст.

Авшаров так и остался стоять с поднятым пальцем. Конечно, это «ура» было чудовищной бестактностью! Ему еще влетит во дворце за этот промах, влетит так, что он долго не забудет! Подавленный сознанием допущенной ошибки и испуганный гневным молчанием народа, Авшаров побагровел и пробормотал с горечью:

— Народ всегда неблагодарен!

— Напротив, народ всегда благодарен, — сказал кто-то сзади, — но только тем, кто заслужил его благодарность.

Авшаров повернулся. Перед ним стоял улыбающийся Гургенидзе. Улыбка его выражала неприкрытую насмешку, вызов и презрение.

Жандарм прочел все это на его лице и, улыбнувшись в ответ, неуверенно протянул ему руку.

— Барс! И вы здесь? — спросил он нетвердым голосом.

Гургенидзе точно не заметил жеста Авшарова, заложил руки за спину и холодно ответил:

— Я — там, где мне следует быть. А вот вы ворвались без спроса и приглашения в чужой лагерь. По меньшей мере смелый поступок!

Авшаров побагровел еще больше.

— Вся Россия — мой лагерь! — ответил он высокомерно и добавил, погрозив пальцем, — а вы, пожалуйста, не забывайте, что есть еще сто вторая статья, от которой вас не спасет амнистия!

— Иными словами, вы угрожаете мне восьмью годами каторги? Что ж, вот я перед вами, попробуйте! — и Зураб встал перед Авшаровым, выпрямившись и засунув руки глубоко в карманы.

Жандарм смерил Барса взглядом, полным бессильной злобы, и вдруг круто повернулся к нему спиной. Тут он столкнулся лицом к лицу с Кето, внимательно следившей за их разговором.

— И ты здесь? — резко спросил Авшаров свою невесту.

Кето сдвинула брови и ответила не сразу.

— Что это за тон, Артемий? Обозлился и хочешь выместить на мне свою досаду?

— Прости меня, дорогая! — сразу переменил тон Авшаров и, взяв невесту под руку, увел ее в фойе, к которому примыкала терраса. — Я провел всю вчерашнюю ночь на ногах, да и сейчас меня ждет тысяча дел... Но как ты затесалась в эту грязную толпу? Пойдем подалее отсюда!

— Не пойду. Оставь меня в покое!

Авшаров испугался ссоры и тут же попытался обратить упрямство Кето себе на пользу.

— О, пожалуйста, дорогая моя! Я вовсе не хочу тебя принуждать... Раз ты так хочешь — оставайся, броди с этой толпой по всему

городу. Вечером расскажешь, где была, что видела... Только умоляю тебя, будь осторожна и помни о моем добром имени!

Проговорив все это ласковым, почти елейным голосом, ротмистр поцеловал обе руки своей невесте и сбежал вниз по широкой лестнице, ведущей из фойе к выходу.

Кето душила ярость, но усилием воли она сумела взять себя в руки. Уже не раз в последнее время замечала она, что Авшаров пытается использовать ее как информатора. Всякий раз, увидевшись с невестой, он начинал осторожные расспросы: кого она встречала? кто и что ей говорил? какие у кого замыслы и намерения? Однажды, совсем уж осмелев, он прямо предложил Кето, чтобы она заводила со своими друзьями и знакомыми разговоры на политические темы и передавала ему все, что услышит. «Ведь сейчас ты участница всех моих удач и поражений! — сказал он. — Я рассчитываю на твою помощь и поддержку!» Кето стоило огромного труда скрыть свое негодование. Сегодня, как и тогда, она овладела собой и решила холодно и спокойно: «На то я и Юдифь, чтобы обмануть своего Олоферна, все выведать и ничего не выдать».

Вдруг на лестнице показался Климиашвили. Он окинул фойе ищущим взглядом и повернул назад. В то же мгновение Леван подскочил к Кето и шепнул ей на ухо:

— Кето, ступай скорее на террасу и задержи там Зураба до тех пор, пока я не позову. Скорей! Не пускай его сюда!

Кето сразу все поняла. Сандро Климиашвили дожидается внизу на лестнице! Ну конечно, у Левана дрожит голос и правая рука засунута в карман. Значит...

Кето бросилась к террасе и столкнулась в дверях с Зурабом.

— Зураб, стой!.. Иди сюда... Я хочу тебе что-то сказать... — зачастила она взволнованно, увлекая Гургенидзе за собой на балкон. — Будь осторожен!.. Там, в театре, Климиашвили...

— Где, где? Покажи мне! — И Зураб, засунув руку в карман, пошел к фойе.

Кето вцепилась в него обеими руками.

— Не ходи туда, Зураб! — воскликнула она. — Ты же обещал мне, помнишь? Ты сказал, что не тронешь его, если он сам на тебя не нападет!

— Помню... И сдержу обещание, уклонюсь от встречи. Только ради тебя! Давай станем вот здесь, — и Зураб отвел Кето к стене в глубине террасы.

Здесь Гургенидзе был в безопасности. Его нельзя было застигнуть врасплох. И если Климиашвили появится на балконе, Зураб опередит его и выстрелит первым, прежде чем поручик успеет оглядеться.

— Леван там, внутри, и следит за Климиашвили, — сказала Кето. — Он просит тебя обождать здесь немного и не спускаться пока вниз.

— Хорошо, хорошо. Так и сделаю. Только не думай, что я боюсь твоего поручика!

— Знаю, знаю, что не боишься! Но не забывай, что ты обязан ему своим спасеньем! Если бы не Сандро, сидел бы ты сейчас под замком, в Метехи.

— Потому я и избегаю встречи с ним, — ответил Зураб.

Он не сводил взгляда с двери фойе и не вынимал руки из кармана.

— А теперь слушай! Я должна тебе кое-что сообщить, — продол-

жала Кето шепотом, — Авшарову удалось добиться признания какого-то арестанта по прозвищу «Орел». Этот «Орел» выдал своих товарищей, участников стычки, в которой был убит жандарм; клички этих товарищей — «Девушка» и «Рысь». «Орел» назвал Авшарову их фамилии.

— Неужели? — воскликнул с тревогой Зураб. — Какой мерзавец! Не орел, а болтливая сорока!

— Предупреди этих товарищей, Зураб. Их могут арестовать с минуты на минуту. И сам будь осторожней!

— Разумеется, я их предупрежу. Спасибо, Кетеван. Благодарю тебя, мы все тебя благодарим. Будь спокойна: и их предупрежу и сам буду осторожен.

Пока Кетеван предостерегала на балконе Зураба, Леван разыскал Раждена и вместе с ним подошел к Климиашвили, нетерпеливо расхаживающему по площадке. Оба остановились прямо перед Сандро. Леван вежливо спросил:

— Если не ошибаюсь, ваша фамилия Климиашвили?

— А ты кто такой? Чего лезешь с вопросами? — ответил Климиашвили грубо и надменно, смерив Левана и Раждена презрительным взглядом.

— Ах, так вот ты как разговариваешь! — сказал Леван и голос его зазвенел сталью. — Так вот, слушай и мотай на ус то, что я тебе скажу. Я знаю, зачем ты здесь. Если тебе не к спеху увидеться на том свете со своим старшим братом, сейчас же убирайся отсюда подобру-поздорову.

— Что? Угрожаешь?

— Раз ты нам угрожаешь и нам не зазорно... Ну, мне не до разговоров. Через минуту мы вернемся и если еще застанем тебя здесь, продырявим пулями, что твое решето. Сам господь бог тебя от нас не спасет! — Круто повернувшись, Леван взбежал, перескакивая через ступеньки, в фойе и оглянулся. Климиашвили спускался по лестнице, понурив голову.

— Пора идти, — сказал через минуту Леван Зурабу.

— Боже мой, сколько у тебя, оказывается, врагов! — шепнула Барсу Кето, идя следом за ним. — Избавишься от одного — другой подстерегает...

— Леван, нас ждут. Мы должны привести в Надзаладеви по крайней мере пять тысяч человек!

— Десять тысяч приведем!

Выйдя на улицу, они заметили стоявшего тут же, возле входа в театр, Климиашвили. Поручик кусал губы и мерил Гургенидзе недобрым взглядом. Народ на улице строился рядами. Красных знамен становилось все больше. В первой шеренге стояли Марта, Тедо и Нико. Зураб, Леван и Ражден присоединились к ним, грянула революционная песня, и шествие двинулось вперед. Кето шла по тротуару следом за этой могучей волной. По пути в ряды демонстрантов вливались сотни и тысячи новых людей.

На огромном Надзаладевском поле было тесно от многолюдья. Здесь и там над головами развевались алые полотнища знамен. Посреди поля стоял откуда-то принесенный стол, и ораторы поднимались один за другим на эту наскоро устроенную трибуну. Появление правобережных жителей собравшиеся встретили радостным шумом и возгласами «ура» и «да здравствует».

Красное знамя было теперь в руках у Зураба. Следовавшие за ним

демонстранты влились в это волнующееся людское море. А сам Зураб со своими друзьями расположились около трибуны. Очередной оратор повторял восторженным тоном то, что до него говорили многие другие.

— Самодержавие умерло! Монархия пока осталась. Отныне мы должны стремиться к уничтожению монархии. Но каков путь к этой цели? Здесь нам говорили, что добиться низвержения монархии можно только оружием, только ценой крови. Граждане! Довольно с нас пролитой крови! Не хотим больше вооруженной борьбы! Долой кровь! Долой оружие!

Кое-где в толпе захлопали.

Кто-то стащил оратора за полу с трибуны. В то же мгновение на его месте появился темноволосый молодой человек среднего роста.

— Да здравствует вооруженное восстание! — крикнул Зураб; народ отозвался громкими аплодисментами и приветственными возгласами.

Оратор подождал, пока стихли рукоплескания, и начал спокойным тоном:

— У вас есть одна негодная привычка, и я должен прямо о ней сказать. Каждого, кто выступает перед вами, что бы он ни говорил, вы встречаете одобрительными криками и аплодисментами. Крикнут перед вами «Да здравствует свобода!» — вы аплодируете. Объявит кто-нибудь «Да здравствует революция!» — вы аплодируете снова. Это очень хорошо. Но вот кто-то заявляет, что нам не нужно больше оружия, — и вы его тоже встречаете аплодисментами! Как может революция победить без оружия? И что за революционер тот, кто кричит «Долой оружие»? Так впору говорить не революционеру, а какому-нибудь толстовцу. Такой человек, кто бы он ни был, — враг народа и революции!

В народе послышался шум, разговоры; с разных сторон доносилось отрывочно: «Кто это?.. Как его зовут?.. Как он убежденно говорит!.. Настоящий якобинец!..»

— Что нужно для настоящей, окончательной победы? — задал оратор вопрос и сам же дал на него ответ, пронизанный глубочайшим убеждением, — хорошенько уразумейте и запомните: прежде всего, для этого необходимо оружие.

Закончив свою короткую, но боевую речь, оратор-большевик сошел с трибуны, провожаемый долгими, восторженными рукоплесканиями. Громче всех аплодировали Зураб, Марта, Леван и их друзья.

Зураб оглянулся и увидел Кето, изо всех сил хлопавшую в ладоши своими маленькими руками.

— Ну что, исполнилось твое желание? — спросил он. — Видела нашего оратора?

— Видела! Да и сейчас вижу.

— Сегодня куда ни пойдешь, услышишь только «ура» и «да здравствует», а он в нескольких словах осветил, точно ярким лучом, весь предстоящий путь революции, — сказал Зураб. — Ты помнишь, что я тебе говорил о том, как развернутся в дальнейшем революционные события?

— Помню. Ты сказал, что победа будет за народом.

— Так вот, запомни хорошенько мои тогдашние слова. Да, кстати, надо позаботиться о том, что ты мне сказала... Леван, пооди сюда! Разущи сейчас же, хоть под землей, «Девушку» и «Рысь» и приведи их ко мне.

— Чего искать — они оба тут!.. Сейчас приведу... — ответил Леван и исчез в толпе.

Сумерки уже спускались на улицы Тбилиси, когда несколько десятков тысяч горожан, выстроившись в колонны, подступили с песней и с развевающимися знаменами к подножью крепости Метехи. Ни у одного из манифестантов с самого утра не было маковой росинки во рту. Но общее воодушевление заставило всех забыть о голоде и усталости. На подступах к Метехи демонстрантам преградили путь солдаты. Узкие переулки вокруг замка были забиты народом так, что в толпе трудно было пошевелиться. За решетками тюремных окон теснились сотни лиц, арестанты махали просунутыми сквозь прутья руками, пели и кричали: «Выпустите нас!.. Выломайте ворота!.. Долой палачей!.. Да здравствует свобода!»

В ответ доносились снизу ободряющие возгласы:

— Крепитесь!.. Потерпите еще немного!.. Завтра заставим палачей освободить вас... Завтра будете на воле... До свидания! До завтра!

* * *

На другой день Кето не выпустили из дома. Шли последние приготовления к свадьбе, и у Ахатнели все было вверх дном. Андро и Мариам решили торжественно отпраздновать венчание своей дочери. Новая квартира Авшарова была слишком мала для этого. Но и в квартире Андро не хватало места. Поэтому Ахатнели попросил Цверадзе уступить ему на один день свои пять комнат. Он решил соединить оба помещения и устроить отдельный стол в каждой половине. Такое раздвоение свадебного пира устраивало его во всех отношениях. Прежде всего, многие из его гостей, разумеется, сочли бы зазорным для себя сесть за стол вместе с жандармами. И, помня об этом, Андро мудро решил разделить в этот вечер свой ковчег на две четко разграниченные части: «чистые» должны были пировать в комнатах самого Ахатнели, а «нечистым» предоставлялась квартира Цверадзе.

Из гостиницы «Лондон» были приглашены два повара и несколько официантов. Посуду взяли напрокат в «Орианте». Труднее всего было достать припасы. В городе, парализованном всеобщей забастовкой, едва удавалось раздобыть жалкие крохи съестного. А о том, чтобы обеспечить яствами свадебный стол на пять — шесть десятков гостей, нечего было и думать. Достать такое количество продуктов было под силу разве только всемогущему «комитету» — к которому, впрочем, имел прямое отношение Акакий.

Но Акакий именно в день свадьбы Кето собирался по партийным делам куда-то в Мцхету или в Мухрани. На самом деле никаких партийных поручений у него не было — он никуда и не думал уезжать. Поездка в Мухрани была только предлогом для того, чтобы не присутствовать на «жандармской свадьбе» и в то же время не навлечь на себя гнев отца. Более прямолинейный Нико открыто возмущался и в запальчивости даже заявил, что на такое торжество мог бы явиться только с бомбой. Акакий же решил благоразумно уклониться от приглашения и заранее придумал уважительную причину.

Однако манифест восемнадцатого октября вызвал во многих разительную перемену. Акакий весь растаял, стал еще медоточивее прежнего, пришел в идиллическое состояние духа и веселился, как маленький мальчик. Ему вдруг показалось, что расстояние, отделявшее его

адвокатский фрак от жандармского мундира Авшарова, сократилось вдесятеро. А когда выяснилось, что он не обязан пировать вместе с «нечистыми» и может даже не заговаривать с Авшаровым, все представилось ему еще проще. Акакий сам, по собственному почину, поднялся на третий этаж, разыскал Мариам и сказал:

— Ну как, мама, ничего не достали? Как же так, неужели в доме Ахатнели сыграют голодную свадьбу?

— Осрамимся, дружок, осрамимся на весь свет! — пожаловалась Мариам. — Уговаривала я нашего зятя отложить венчание, да он и слушать не хочет.

— Не бойся, мама! — сказал Акакий ободряющим тоном, погладив ее по плечу. — Постараемся не опозорить наше семейство. К счастью, я член комитета. Составь список всего, что тебе требуется и приготовь деньги, а остальное я беру на себя. Все будет доставлено прямо к тебе на дом. Только никому ни слова об этом, не то...

— Что ты, что ты, дорогой мой! Ни одна живая душа не будет знать. Ты, право, очень мил. Конечно, надо поддерживать своих в трудную минуту — в счастье да в весельи от людей и так отбою нет...

Появление Андро прервало этот разговор. Неделю тому назад Ахатнели получил чин действительного статского советника, и красная подкладка новенького вицмундира горела, как маковый цвет, на его треугольных отворотах. Несмотря на это, Андро был хмур и озабочен. Предстояло выплатить Авшарову обещанные в приданое десять тысяч, а Ахатнели не сумел достать и половину этой суммы. В довершение всего, в доме перед самой свадьбой не было даже черствого хлеба...

— Отцу твоему надо сказать или нет, как ты думаешь? — спросила сына Мариам.

— Разумеется, он должен все знать, — ответил Акакий.

— Могу тебя порадовать, Андро. Акакий достанет нам все, что нужно для свадьбы — и вино, и мясо, и птицу, и все остальное.

Складки на лбу у Ахатнели разошлись, под усами мелькнула довольная улыбка.

— В самом деле? Но как? Откуда?

— Он ведь член комитета... Только смотри, никому не говори.

— Нет худа без добра, — пробормотал Андро; он опустился в кресло и стал расспрашивать Акакия о впечатлениях минувшего дня.

— Сегодня революция завершилась! — успокаивал сын испуганного отца; он ходил по комнате, поглаживая рыжую бородку и как бы разговаривая сам с собой. — Теперь разгорится обычная парламентская борьба. Если правительство честно выполнит обещания, содержащиеся в манифесте, страна быстро успокоится и жизнь войдет в привычное русло. Сейчас правительству угрожает опасность с двух сторон — как слева, так и справа. Бюрократия постарается отсечь у конституции руки и ноги и оставить от нее жалкий обрубок. А большевики могут довести дело до вооруженного восстания. Потерпят они поражение — горе нам, а одержат победу — беда. Большевики выкорчуют весь старый мир с корнем. Это, впрочем, меня не заботит: туда ему и дорога! Никто убиваться и облачаться в траур по этому поводу не станет. Но вслед за царской бюрократией большевики отправят в тартарары либералов, а там придет и наш черед. Я вижу всю эту картину ясно, как на ладони. До сих пор у нас был один враг, а теперь их стало два. Как бы они, столкнувшись, не раздавили нас.

Андро почувствовал облегчение. Перед ним забрезжила надежда: революции приходит конец, а значит, поправятся банковские дела, бежавшие из деревни помещики возвратятся в свои имения, прекратятся убийства дворян, и всюду воцарятся покой и патриархальные отношения. На радостях Андро даже забыл, что должен завтра вручить Авшарову пять тысяч, которых у него нет... Впрочем, Ахатнели еще по пути домой придумал выход: он сошлется на всеобщую забастовку и предложит зятю вексель вместо наличных денег.

Еще одна забота мучила все эти дни Андро, и он счел момент подходящим, чтобы выяснить этот вопрос.

— Послушай, Акакий! Неужели ты, мой старший сын, не будешь на свадьбе Кето? Да ведь после этого нам нельзя будет людям на глаза показаться! Нико может прийти или не прийти — это не так уж важно, но ты... Ведь никто не поверит, будто ты не смог освободиться!

— Успокойся, папа! — ответил Акакий. — Сидеть рядышком с Авшаровым я не согласен, но за другим столом, если хочешь, даже буду тамадой.

— Очень хорошо, мой друг. Этого вполне достаточно. Ты прекрасно придумал. Авшаров впредь не раз будет нам полезен. Не стоит его обижать.

То, что Авшаров «впредь не раз будет полезен», и было настоящей причиной, заставившей Акакия переменить свое решение. Андро с наивной прямоотой высказал тайные расчеты своего сына.

Мариам утицей вкатилась в комнату Кето и сообщила ей радостную новость:

— Кетуни, родная моя!.. Акакий берется достать все для твоей свадьбы и сам обещает прийти. Только не проговорись об этом никому, а то ведь знаешь...

Через полчаса к Кето вихрем влетела Тамара. Она расцеловала девушку, щекоча ей лицо своими жесткими распущенными волосами, и затараторила:

— Боже мой, Кетино, прелесть моя! Что случилось? Разве ты на меня сердишься? Почему ты со мной почти не разговариваешь? Разумеется, я приду на твою свадьбу и буду петь за столом и даже спляшу на радостях... А еды и питья привезу тебе столько, что хватит на целую сотню самых жадных и голодных гостей! Ну, улыбнись мне, ангел мой! Засмейся! Вот так! Еще, еще раз! Ха, ха, ха! Хи, хи, хи!

Последние два дня перед свадьбой Кето провела дома. Ей примеряли новые платья, переписывали и укладывали в сундуки приданое — и всем этим нудным делам не видно было конца. А между тем Кето всей душой рвалась туда, на улицы, и не знала ни минуты покоя. Через каждые полчаса она бегала в нижний этаж, к братьям, и справлялась о новостях. Акакия, Нико, Марту и Левана ей ни разу не удалось повидать — они проводили целые дни напролет на митингах, демонстрациях и заседаниях. Но Кето сообщали обо всем. Она знала, что семьдесят тысяч человек подступили с развевающимися красными знаменами ко дворцу наместника и потребовали освобождения политических заключенных, вывода карательных отрядов из деревень и отмены военного положения. Наместник ствентил, что военное положение будет отменено и карательные отряды уйдут из сел после того, как утихнут

народные волнения, а что касается политических заключенных, то семьдесят человек будут освобождены сразу, остальные же — после соответствующего распоряжения из Петербурга.

Узнала Кето также, что царский манифест поставил на ноги весь «Союз русского народа». В миссионерской церкви собирались под предводительством протоиерея Городцева воители «черной сотни» и всякого рода подонки; поднялся ропот: либералы, дескать, обманом вырвали у нашего государя манифест, и теперь всевозможные проходимцы сядут нам на шею; Россию уже делят и продают, отечество гибнет, пора браться за оружие, чтобы спасти его ценой собственной крови. Юродивые попы и чиновные кликуши кричали истошными голосами: «Поднимайтесь, православные! Государь призывает нас! Собирайтесь под трехцветным знаменем, спасайте святую Русь, ибо надвигается час нашей гибели!»

Наступил день, назначенный для венчания. В двенадцать часов Авшаров приехал к Ахатнели вместе со своей матерью. Служанка пригласила их в гостиную и пошла докладывать хозяевам.

Мать Авшарова была белокурая, очень полная, близорукая женщина лет пятидесяти. Приставив к глазам лорнет в черепаховой с золотом оправе, она внимательно осмотрела картины на стенах, потом пощупала ковер на тахте, прочла на крышке рояля название фирмы и сказала сыну:

— Ça, c'est pas mal — это неплохо, — она указала пальцем на картины, ковры и рояль. — Mais le reste — но остальное... — и пренебрежительно махнула рукой.

Андро, Мариам и Кето вышли к гостям почти одновременно. Ахатнели галантно расцеловал пухлые, унизанные кольцами руки своей бу-



душей сватки. Мариам и Галина Сигизмундовна обнялись и троекратно облобызались с видом встретившихся после долгой разлуки подруг детства. Тут появилась, все осветив своей улыбкой, Кето и быстрым шагом направилась к своей будущей свекрови. Галина Сигизмундовна прижала ее к груди и тоже трижды поцеловала. Потом вскинула свой черепаховый лорнет, приставила его чуть ли не к самому носу невесты и принялась изучать ее, словно лошадь, по статьям: волосы, лицо, грудь, талию, ноги... При этом она отрывисто бросала по-французски:

— *Très gentille! Charmante! Délicieuse!* — Очень мила! Очаровательна! Прелестна! Боже мой, что за глаза! Какие губы! Какая шея! А фигура! Но особенно хороша, просто обворожительна эта серебряная прядь. Просто удивительно — и откуда она у вас?

— От моей бабушки! — с некоторым раздражением отвечала Кето, выведенная из себя этим беззастенчивым осмотром.

Все сели. Галина Сигизмундовна никак не могла успокоиться — белая прядь Кето произвела на нее неотразимое впечатление.

— Да, удивительная встречается иногда игра природы! Вот вам пример. Есть у меня верховая лошадь — породистая вороная кобылка. Вся, от копыт до холки, цвета воронова крыла. И только вдоль лба, от ноздрей к гриве, тянется узенькая белоснежная стрелка.

— Как у меня, — с улыбкой вставила Кето.

— Да, как у вас, — машинально отозвалась мать Авшарова и тотчас же спохватилась, — я, разумеется, не сравниваю вас с лошадью...

— Уже сравнили — куда уж еще! — пожалала плечами Кето.

— Потому что вы, конечно, не лошадь...

— О, надеюсь, сударыня... Имею дерзость надеяться, что я в самом деле не лошадь!

Пожилая дама еще раз смерила ее взглядом через лорнет:

— *J'espère que vous n'êtes pas méchante! N'est-ce pas?* — сказала она. — Надеюсь, что вы не злючка? Не так ли?

— Non, madame, je ne suis pas du tout méchante. — Нет, сударыня, я вовсе не злая. Вы в этом очень скоро убедитесь, — воскликнула со смехом Кето и поцеловала руку своей будущей свекрови.

И подумала при этом: «Надеюсь, ты поймешь этот маленький урок! Запомни: помыкать собой я не позволю!»

Madame Галина поцеловала девушку в лоб и сказала растроганно:

— Отныне вы будете моей дочерью... Моей любимой дочерью... У меня никого нет, кроме Артемия... Не знаю, найдется ли еще на свете женщина, обиженная судьбой так, как я...

Андро испугался, как бы гостя не расплакалась, и поспешил преречь ручей слез в самом истоке:

— Не тревожьтесь, сударыня! У нашей Кетеван доброе сердце, и я убежден, что она не будет вас огорчать. И можете быть уверены, — она сделает все, что в ее силах, чтобы Артемий был счастлив с нею. Но скажите мне, пожалуйста, как вы добрались до Тбилиси? Ведь железная дорога не работает!

Мать Авшарова сразу просветлела и принялась с явным удовольствием рассказывать историю своего путешествия. Из Одессы в Батум она приплыла на миноносце. По флотским законам женщин на военные корабли обычно не допускают, но теперь так все перепуталось, что никто не обратил на это внимания. В Батуме она прождала целых пять

дней и наконец решила обмануть комитет «санкюлотов»: назвалась чужой фамилией, разрыдалась, разжалобила их... Рассказала, будто сын ее убит в Тбилиси жандарма и на днях будет повешен, и что она едет повидаться в последний раз со своим мальчиком. Комитет расчувствовался, посадил ее в собственный комитетский вагон и отправил в Тбилиси. Галина Сигизмундовна безмерно радовалась тому, что сумела нанести революции этот коварный булавочный укол.

— Ха, ха, ха! — смеялась будущая свекровь Кето. — Там, где правда бессильна помочь, естественно прибегнуть ко лжи. Новоявленные якобинцы именно так и поступают. Чем же мы хуже?

Дамы завели обычную женскую беседу. Авшаров попросил Андро выйти с ним в кабинет и сказал:

— Я обещал вашей супруге, что буду венчаться в Кашветской церкви. Но возникли неожиданные обстоятельства, и я вынужден переменить свое решение. Венчание должно состояться в Александро-Невской миссионерской церкви.

Неожиданное обстоятельство состояло в следующем: коллеги в лазурных мундирах попрекнули Авшарова в том, что он собирается венчаться в грузинском храме. При этом ему сообщили одно весьма важное известие: именно, что в «Союзе русского народа» некоторые причисляют его к либералам. Лучше, советовали ему, не раздражать черносотенцев и обвенчаться в миссионерской церкви, излюбленном их гнезде, а заодно постараться задобрить двумя-тремя тактичными словами и сделать щедрое пожертвование в пользу храма, чтобы рассеять всякие подозрения на свой счет. Не то, говорили Авшарову, берегись преподобного отца Городцева: он постепенно набирает силу и от гнева его никуда не спрячешься!

Андро пожал плечами.

— Венчайтесь, где вам угодно, — сказал он. — Мне это безразлично. Но мои родственники и близкие не пойдут в миссионерскую церковь, и получится неловкость.

— Почему не пойдут?

— Потому что этот храм в последнее время превратился в политический клуб.

Этого Авшаров не предусмотрел. Немного подумав, он предложил иной выход:

— А моих друзей не устраивает грузинская церковь. Поэтому давайте остановимся на храме Иоанна Богослова.

— Пусть будет так, — тотчас же согласился Ахатнели. — А теперь и я у вас попрошу минуту внимания. Все банки закрыты, и я не сумел достать для вас условленные пять тысяч. Надеюсь, вы извините меня и согласитесь принять вексель.

— Пусть будет так, — согласился в свою очередь Авшаров, и будущие тесть с зятем вернулись к дамам.

Мариам предложила гостям по чашке кофе, но Галина Сигизмундовна отказалась наотрез. Это был первый визит, и он не должен был продолжаться больше пятнадцати минут. Прощаясь с новыми родственниками, мать Авшарова сказала:

— Je ne voulais d'éranger ces colombes — я не хотела мешать нашим влюбленным голубкам и остановилась в «Орианте». До свидания, хорошие мои. До свидания, моя малютка.

Через полчаса Мариам и Кето спустились на проспект и отдали визит Галине Сигизмундовне.

Вечером во дворе церкви Иоанна Богослова собралась довольно большая группа людей. Это были родственники и друзья жениха, ожидавшие приезда невесты. Жандармские и драгунские офицеры надели для этого торжественного случая парадную форму. Авшаров и его сослуживцы были затянуты в небесно-голубые мундиры с белыми аксельбантами, подпоясаны широкими кушаками с серебряным шитьем. На головах у них красовались плоские черные каракулевые шапки с невысокими султанами. Серые плащи, небрежно накинутые на плечи, и белые перчатки дополняли этот щегольской наряд. Шашки и револьверы были неразлучными спутниками офицеров в эти дни и часто извлекались из своих гнезд. Возле кучки офицеров прохаживалось несколько штатских — мужчины и женщины. Авшаров был тбилисец по происхождению и по случаю своей свадьбы вспомнил всех своих родичей.

Жениху и его друзьям недолго пришлось ждать. На Каргановской улице показалось ландо, запряженное белыми рысаками и окруженное всадниками в белых черкесках. Лошади бежали ровной рысью, по улице разносилось мерное цоканье копыт. Илико, одетый с ног до головы в белое — даже в белых сапогах и шапке, ехал впереди на белоснежном жеребце. Давно уже тбилисцы не видывали традиционного «макриони» — свадебного поезда с конными друзьями. Илико воскресил этот старинный обычай, изумив этим одних и обрадовав других.

Следом за ландо с его конной свитой показалось еще десять-двенадцать экипажей. Из них вышли Андро, Мариам, Димитрий и другие родственники и близкие Кетеван. Акакий, крадучись, выбрался из закрытого фаэтона и сразу прошмыгнул в церковь. Зато Тамара выпрыгнула из экипажа, как маленькая девочка, еле удержавшись на ногах, и с хохотом побежала за мужем. Григол торжественно и чинно ссадил с фаэтона свою Анико и медленной поступью направился вместе с нею в храм.

К ландо подскочили с двух сторон Авшаров и его шафер, жандармский полковник Безгин. Кето вышла из экипажа, опираясь на руку почтительно склонившегося Авшарова. Она была в белоснежном платье и белой воздушной фате, спускавшейся до пят. В сумерках с трудом можно было различить черты ее лица. Жених подхватил невесту под руку и повел ее в храм. Его шафер Безгин предложил руку подружке невесты, Эло Шабуришвили, и вместе с нею последовал за «князем и княгиней». Друзьки Авшарова шествовали за ними, чуть позванивая шпорами, а остальные теснились сзади, стараясь опередить друг друга и проталкиваясь поближе к невесте, чтобы рассмотреть ее и тут же шепотом произнести свой приговор.

Церковь была ярко освещена сотнями сияющих свечей. Многочисленный хор певчих встретил жениха и невесту ликующим гимном.

Посредине храма — аналой, на нем — икона и крест. Жених с невестой остановились перед аналоем и застыли в неподвижности. Друзьки, родственники и любопытные окружили их тесным кольцом и принялись внимательно и придирчиво разглядывать обоих.

Мариам с утра настойчиво уговаривала дочь закрыть лицо, как принято, газовой вуалью. Но Кето отказалась наотрез.

— Это пережиток феодально-восточных обычаев. А кроме того,

слишком театрально, — заявила она и поехала в церковь с открытым лицом.

Пусть все рассматривают Кетеван Ахатнели! Через какой-нибудь час собственное родовое имя будет стерто, смыто с нее навсегда, и, словно клеймо, загорится на ней фамилия Авшарова. Так рассматривайте же ее, изучайте внимательно ее глаза, брови, губы, стан, ноги... Кето не боится вашего суда — она прекрасно сознает и красоту свою, и все свои недостатки. Жаль только, что из этой фаты устроили у нее на голове целое сооружение, вроде татарского «кокоши», закрыв иссиня-черные волосы и серебряную прядь, протянувшуюся посредине, как Млечный путь поперек полуночного неба. Со всех сторон — восторженные улыбки и шепот восхищения. Но Кето как бы ничего не видит и не слышит: стоит с поднятой головой и смотрит на золоченый иконостас с суровыми ликами святых. Недвижный взгляд ее полон гордости, но где-то в глубине темных глаз сквозит сумеречная печаль...

Из алтаря вышел священник в златотканых ризах и начал богослужение. С хоров доносятся праздничные песнопения. Шепот почти смолк. Священник причастил жениха и невесту, надел им на пальцы обручальные кольца и дал в руки по большой зажженной свече. Потом, заставив их взяться за руки, трижды обвел вокруг аналоя. Хор грянул «Ликуй, Исая!»

Венчание окончено. К новобрачным протискиваются со всех сторон, кольцо сжимается все тесней. Поздравления, пожелания счастья. Кето целуют руки — теперь уже открыто, как даме. Кончено. Все. Кето Ахатнели превратилась в Кетеван Авшарову. Она сама, по собственной воле, избрала удел Юдифи, взвалила на себя тяжкое ярмо и отныне должна нести его до самого конца...

* * *

Новобрачных посадили вместе в ландо. Конные дружки с горящими факелами окружили экипаж, и свадебный поезд двинулся резвой рысью по улице. Следом покатила длинная вереница разубранных цветами экипажей. Сидевшие в них были одеты по-праздничному и держали в руках огромные букеты цветов.

Дружки осадили лошадей перед домом Ахатнели, проворно соскочили с седел, бросили поводья казачкам и раньше всех взбежали по лестнице. Первым взлетел наверх Илико. Его встретила в дверях Мариам. Она поднесла вестнику радости серебряную чашу с вином и платок из узорного шелка — «багдади». Илико осушил чашу, попросил сохранить памятный сосуд, а платок повязал себе на рукав.

Улица была забита народом: весь квартал сбегался посмотреть на приезд «князя с княгиней». Все рвались вперед, чтобы хоть уголком глаза увидеть новобрачных. Авшаров взял под руку Кето и с трудом пробился к двери сквозь толпу любопытных.

У входа ожидали их, как часовые в почетном карауле, двое дружек. Они стояли, вытянувшись по обе стороны двери и скрестив поднятые обнаженные сабли. Новобрачные прошли под этой аркой. На каждой площадке лестницы их дожидалась такая же пара. Мариам, Галина Сигизмундовна и Андро встретили их уже в комнатах. Родители расцеловали молодоженов, обливаясь радостными слезами, усадили их в разукрашенные кресла и сами примостились рядом.

Тут-то и начались настоящие торжественные поздравления. Роль

церемониймейстера взял на себя сам Андро. Он подводил гостей одного за другим к новобрачным и представлял их. Объятиям и целованию рук не было конца.

Друзья Авшарова — офицеры и жандармы — стояли в стороне. Андро не забывал и их — знакомил со своими близкими и друзьями, всячески стараясь сблизить, слить эти два чуждых лагеря. Однако он казался несколько озабоченным, так как в гостиной не было видно его сыновей и племянников. Андро несколько раз заглядывал во внутренние комнаты, но никого там не обнаружил. Одиночество его и Мариам бросалось всем в глаза — Ахатнели это видел, и беспокойство все больше охватывало его. Появление Анико несколько умерило его тревогу. Жена Григола поздравила новобрачных, приветливо поздоровалась с матерью, родственниками и друзьями Авшарова и села рядом с Кето

Следом за Анико появились Григол и Димитрий. Они обменялись деланно-теплым приветствием с новыми родичами и знакомцами, расцеловали Кето и смешались с толпой гостей.

Андро стало гораздо легче на душе. Но он все еще не мог окончательно успокоиться. Ахатнели ждал своего старшего сына и нетерпеливо искал его глазами среди гостей. Вместо Акакия, однако, появилась Тамара. Она бросилась к Кето, стиснула ее в объятиях, потом, с трудом оторвавшись от нее, торопливо пожала руку зятю, беспричинно захохотала и спряталась за спиной Мариам.

Молодожены принимали поздравления стоя. Им уже смертельно наскучили эти бесконечные объятия, поцелуи и рукопожатия, но они не подавали виду — улыбались всем и каждому и любезно благодарили за пожелания счастья. Время от времени, когда выдавалась свободная минута, они присаживались, но тут же, при появлении новых гостей, снова вскакивали, деланно улыбались и повторяли заученные слова.

Илико помогал отцу: вводил в гостиную родственников и друзей и тотчас же отправлялся на поиски новых, еще не представлявшихся молодоженам. В конце концов он сумел уговорить и Акакия: втолкнул его в дверь и подтащил к сестре и зятю.

— Желаю тебе всяческого счастья, милая моя Кетино! — сказал Акакий.

Он расцеловал сестру в обе щеки и протянул руку Авшарову.

Но тут Илико, улучив минуту, подтолкнул его сзади и зашептал так громко, что было слышно всем:

— Мы все целовались с нашим зятем... Поцелуй его и ты! Целуй, говорю!

Авшаров и Акакий одновременно подались навстречу друг другу и обменялись насильственным холодным поцелуем. Кое-где послышалось сдавленное хихиканье. Илико захлопал в ладоши и возгласил:

— Ура! На здоровье!

Сдержанное хихиканье превратилось в открытый смех. Сама Кето звонко рассмеялась. Авшаров густо покраснел. Акакий залился багровой краской до самых ушей, прошипел, повернувшись к Илико: «Хулиган!» и, нагнув голову, быстро вышел.

Илико подал знак нанятому на этот вечер таперу. Пианист занес обе руки над роялем, застыл на мгновение в этой позе и с силой ударил пальцами по клавишам. Бодрые звуки шубертовского марша разнеслись по всему дому. Когда маршевый ритм подчинил себе при-

сутствующих и ноги иных принялись незаметно отстукивать такт, pianist прервал игру, подождал несколько мгновений, и австрийский марш сменился бравурными звуками мазурки. Бурный, властный ритм танца взбудоражил всех. Гости разместились вдоль стен, лишнюю мебель вынесли из комнаты, ковер сложили и убрали в угол, и гостиная в одно мгновение превратилась в танцевальный зал. Гости постарше удалились в столовую, чтобы побеседовать за чашкой чая. Илико вышел на середину комнаты и объявил:

— *Messieurs, engager vos dames!* — Господа, приглашайте дам!

Подскочив к подружке невесты, Эло Шабуришвили, он склонился перед девушкой в церемонном поклоне, взял ее за руку и, приостановившись, обратился к зятю:

— Открывайте бал. *Masourka générale! Allons!*

Авшаров не стал мешкать, подхватил Кето и, позванивая шпорами, заскользил вместе с нею по паркету. За ним последовали студент Вачнадзе со своей хорошенькой женой Лели Джорджадзе и пять или шесть других пар. Тапер подпрыгивал, извивался всем телом и, казалось, играл не только руками и ногами, но даже плечами и бедрами. Офицеры и жандармы звенели шпорами и пристукивали каблуками; за всем этим шумом и громом совсем не слышно было шарканья мягких сапог Илико. Этот буйный польский танец казался словно нарочно созданным для шпор и каблуков, так же, как грузинский «лекури» — для мягкой обуви на тонкой подошве. Илико прекрасно знал, что в этом танце многие могут его превзойти, но нисколько не огорчился: в этот вечер он жаждал только одного — триумфа новобрачных.

Авшаров был знаменитый танцор и часто даже дирижировал балами. Лучше всего ему удавалась мазурка — потому-то Илико и начал сегодняшней бал с этого танца. Но хотя Илико и уступил заранее пальму первенства своему зятю, гости, тем не менее, были изумлены его лихостью и ловкостью — качествами, которые должны были особенно ярко проявиться позднее, в «лекури».

По команде дирижера танцующие разделились на две группы и остановились у стен друг против друга. Авшаров протанцевал со своей дамой соло. В последний раз Кето танцевала с ним три года тому назад, на институтском балу. Авшаров, тогда еще драгунский офицер, казался в те дни более красивым, быстрым и гибким. С тех пор он несколько располнел и остепенился. Однако задору у него нисколько не убавилось. Авшаров четыре раза сделал вместе с Кето круг по залу, лихо и с изяществом выполнил несколько фигур и остановился на том же месте, откуда начал. Новобрачных наградили единодушными аплодисментами. Мазурка продолжалась до тех пор, пока каждая пара не протанцевала соло. После этого все вместе сделали еще один круг и рассыпались по гостиной.

Между тем, квартира Цверадзе понемногу тоже заполнялась гостями. Здесь собирались те, кого не интересовали европейские танцы, те, кто пришли просто пображничать и, наконец, те, кто считал зазорным сидеть за одним столом с жандармами.

Кето по-прежнему сидела в своем кресле. Мазурка немножко оживила ее, разгорячила ей кровь. Но потом ей снова почему-то взгрустнулось. Авшаров заметил, что она пригорюнилась, но приписал это усталости.

— Я тоже очень устал, — шепнул он Кето. — Хорошо, что кончились эти нудные поздравления!

Кето не ответила. Она была довольна тем, что Авшаров принял овладевшую ею грусть за усталость. Воспользовавшись минутой тишины, она попыталась заглянуть к себе в душу, чтобы добраться до истока этой непонятно откуда взявшейся печали. Но она ничего не нашла, ни до чего не докопалась. Только еле слышимый, глубоко затаившийся голос нашептывал ей что-то страшное и злое.

Внезапно в дверях показался Элизбар Шукураули — показался и сразу исчез. Но Илико схватил его за руку и чуть ли не силой подтащил к новобрачным. Утром Илико сунул Элизбару в руку десятирублевую бумажку и велел привести себя в порядок — сходить в баню, постричься, побриться, переменить воротничок и взять напрокат в лавчонках Мадатовского острова новые брюки и форменный студенческий сюртук. И вот Шукураули, приглаженный и причесанный, в обновках, бледный и грустный стоял перед Кето и погребальным тоном поздравлял ее. Потом, впервые в жизни, коснулся дрожащими губами ее руки и поднял взгляд на Авшарова. Жандарм улыбнулся ему приветливо и благосклонно. С подчеркнутой любезностью пожав Элизбару руку, Авшаров сказал полковнику Безгину:

— Господин полковник, вот тот самый поэт, который враждует с революцией, избегает политики и тем не менее прячется от нас!

— А-а-а... Очень приятно, очень, очень приятно! — полковник с силой потряс руку Шукураули. — И что же, вы по-прежнему часто меняете адрес?

Поэт стоял, пораженный ужасом, и тщетно пытался выговорить хоть слово. Авшаров ответил со смехом вместо него:

— Три дня тому назад господин Шукураули изволил переселиться из Кукии на Мтацминду. Ха, ха, ха!

— Ну, так я дам вам хороший совет, — сказал Элизбару полковник. — Сегодня можете беззаботно пировать здесь, но завтра непременно перемените квартиру и вообще не оставайтесь дольше чем три дня на одном месте. Иначе мы непременно вас арестуем, хо, хо, хо!

— Он так и будет всю жизнь бегать от нас!

— Вольному воля! Пусть носится, как взбесившийся жеребенок! Ха, ха, ха! Хо, хо, хо! — с грубым хохотом присоединились к разговору другие жандармы.

— Господа, я готов поручиться за Элизбара, — вмешался Илико. — Он не сделал ничего предосудительного.

— Знаем, знаем. Мы все знаем, — ответил Безгин. — Но раз он так настойчиво скрывается, значит есть тому причина!

Элизбар улыбался с невинным и простодушным видом. Вдруг он передернул плечами, словно говоря: «Что тут еще можно сказать!» и направился к двери вялой походкой.

Пианист заиграл медленный вальс. Спокойное течение «Дунайских волн» подхватило гостей, с наслаждением отдавших ему после сумасшедшей мазурки.

На этот раз Кето танцевала с Безгиным. Авшаров пригласил Эло, за ними последовали Тамара, Вачнадзе и другие. Вальсирующие пары закружились по залу легко и свободно, как плывут иногда в сладких сновидениях, паря между небом и землей.

Офицеры и жандармы по-прежнему звенели шпорами и стучали каблуками. Илико и его затянутые в черные черкески друзья неслыш-

но скользили по паркету. Тапер доиграл до конца «Дунайские волны» и перешел на вальс из «Фауста».

Илико сменил Безгина и в паре с сестрой продемонстрировал собравшимся великолепный фигурный вальс. Все остальные танцующие остановились и следили восхищенными глазами за братом и сестрой, кружившимися с несравненной легкостью и изяществом, словно слившись в одно существо. Видно было, что эта пара основательно станцевалась. Восторженные аплодисменты и похвалы были им заслуженной наградой.

За вальсом, после недолгого перерыва, последовали падеспань, кадрили, падекатр и огненный чардаш. Кето приглашали наперебой. Составилась целая очередь, все жаждали танцевать с королевой бала и показать свое искусство в паре с нею. Танцы рассеяли грусть Кето. Глаза у нее сияли, она раздумянилась, радостное волнение охватило ее.

— Лекури! Лекури! — послышалось со всех сторон.

В углу негромко запел дудуки. Дробно заухал барабан. Ему вторило мерное хлопанье в ладоши. Илико закатал широкие рукава черкески, раскинул руки — точно крылья развернул — и вихрем понесся по кругу. Потом круто остановился перед Кето и низко склонил голову.

Кето, вся горя от возбуждения, тотчас же вылетела в круг. Брат с сестрой порхали, как две белые бабочки. Восхищенные изяществом и красотой их танца зрители громче забили в ладоши.

Внезапно в круг ворвался один из дружек. Он оттеснил Илико от сестры и увел ее за собой. Через минуту выскочили еще двое, оттеснили первого и взяли Кето в плен, окружив ее с двух сторон. Быстрая, как птица, Кетеван пыталась увернуться от них, но куда бы она ни метнулась, ей преграждали путь их развернутые крылья. Наконец она выскользнула из этой живой клетки и сразу наткнулась на двух других танцоров. Музыканты устали, хлопанье в ладоши стало тише. Кето заметила это и, чтобы не снижать впечатления, вовремя выскользнула из круга. Ее проводили взрывом аплодисментов и восторженными похвалами. Больше всех восхищались жандармы и офицеры.

Тапер снова заиграл вальс. На этот раз залом завладели пожилые. Андро пригласил дочь, Илико закружился с Галиной Сигизмундовной, Безгин обхватил за талию Мариам. Танцующие раза два степенно обошли круг и рассыпались с улыбками и смехом. Молодежь разразилась криками «браво» и аплодисментами.

Около полуночи гости в обеих квартирах сели за стол, и воцарилось безудержное грузинское веселье.

Уже далеко за полночь. Марта, Зураб, Леван, Тедо и Ражден сидят в комнате Марты и беседуют о событиях последних дней. Они несколько озабочены: вчерашний манифест вызвал переполох в «Союзе Михаила-Архангела». Все темное царство поднялось на ноги, объединилось и решило завтра, под защитой полиции и войск, завладеть улицей.

— Отдать улицу, значит отдать все, — горячится Тедо. — Считай тогда, что не было никакого манифеста. Все, что мы завоевали, отнимут у нас сразу.

— Если не будем начеку, и так все потеряем, — ответил тихим голосом Зураб. Он был в этот вечер задумчив и почти не принимал участия в разговоре. Марта попыталась было узнать причину его печали, но не смогла.

— Значит, если у нас отнимут улицу...

— Не отнимут! Не сумеют! — перебил Зураб. — Самое большее — придется уступить ее на один день. Завтра мы не будем устраивать контрдемонстрацию. Ну что ж! Пусть пройдутся по городу! А что они станут делать дальше? Нет, этого бояться нечего! Нам грозит опасность похуже: враг обходит с тыла. Манифест вывел на чистую воду меньшевиков. Они стали откровенными ликвидаторами: твердят, что мы должны перенести борьбу в Государственную Думу, направить туда все наши лучшие силы и завоевать власть легальным путем... Уже пошли перешептывания: «перекинем мост через пропасть, протянем руку правительству, отбросим оружие... Иначе потеряем все, чего добились...»

— Это трусость!. Измена! Это бесчестно!.. — закричали наперебой Ражден и Леван.

— Иными словами — мы сами, добровольно, должны уступить хулиганам улицу и сложить оружие? — взволнованно воскликнул Тедо.

— Вздор! Мы никому ничего не отдадим и не отступим ни на шаг! — успокоил товарищей Зураб и снова весь обратился в слух, ловя звуки, доносившиеся с верхнего этажа. Оттуда слышались попеременно гром рояля, стон сазанлари, бормотание дудуки, веселые возгласы, топот и шарканье танцоров, стройное пение. Окна в квартире Ахатнели были распахнуты, и Зураб явственно различал слова песен.

Внезапно в комнату ворвался взволнованный Нико.

— Нет, это уже чересчур! — вскричал он с негодованием.

Его забросали вопросами:

— Что такое? Что случилось?

— Мерзость!.. Низость!.. Гнусность!.. Мой почтеннейший братец Акакий поздравил Авшарова, пожелал ему счастья и... подумайте, расцеловался с ним самым нежным образом!

Взрыв хохота раздался со всех сторон. Наконец и сам Нико ядовито рассмеялся. И только одному Зурабу не было смешно. Он сидел, сдвинув брови, нахмутив лоб, и молча глядел на товарищей.

— Измена! Что же это, если не измена, черт побери?

— Да мы только что об этом говорили!

— Ну конечно! Измена, настоящая измена! Зураб, чего ты молчишь? Скажи что-нибудь!

Зураб смотрел в сторону, отвернув лицо, внезапно залившееся краской. После минутного молчания он, наконец, заговорил:

— Что тут еще можно сказать, товарищи? Начинается раскол в революционных рядах. Вы уже дали совершенно правильную оценку поступку Акакия. Это символический, исторический поцелуй. Это поцелуй Иуды. Он знаменует наш окончательный разрыв. С этого вечера Акакий полностью оторвался от нас. Впрочем, я и раньше не возлагал на него больших надежд. Но не будем пугаться и падать духом! За Акакием последуют лишь немногие, а основная масса революционного войска останется с нами. Я уже давно ожидаю измены Акакия, и поэтому сегодняшней случай огорчил, но не удивил меня.

Внезапно раздался стук в дверь. Все вздрогнули. Иные вскочили, схватившись за оружие. Кого принесла нелегкая в столь поздний час? Кому, по какому делу могла понадобиться среди ночи Мар-

та? Там, наверху, полным-полно жандармов! Неужели? Нет, нет, невозможно, невероятно, невообразимо! Это не квартира, а настоящая ловушка: если сюда доберутся фараоны, никому от них не ускользнуть. Мужчины стояли, насторожившись, готовые дорого продать свою свободу, а может быть, и самую жизнь. Но вот дверь приотворилась, и на пороге, вместо ожидаемых жандармов, оказалась Анико.

Зураб так и не пошевелился за все это время — сидел, весь подобрившись и сжимая в кармане рукоятку револьвера. При виде незнакомого женского лица он весело расхохотался и вынул руку из кармана. Рассмеялись и остальные, вопросительно глядя на неожиданную гостью. Марта поспешила ей навстречу.

— Кето просит вас подняться хоть на десять минут и пожелать ей счастья, — сказала Марте Анико. — Наши сидят за столом в квартире Цверадзе. Жандармы туда ни разу не заглядывали и впредь не заглянут.

— А меня Кето не приглашает? — спросил Леван.

— Она сказала, что вы все равно не придете, — ответила Анико.

— Я не могу прийти, — сказала Марта.

— И я, — присоединился к ней Нико. — Что это пришло Кето в голову?

Анико повернулась и ушла. Минут через десять она возвратилась в сопровождении двух слуг. Все трое были тяжело нагружены корзинами и блюдами. Они извлекли из корзин и расставили на столе вино, шампанское, закуски, жаркое, вареных кур, шашлыки и множество других яств.

— Кето очень любит вас, не отказывайтесь, пожалуйста, — говорила Анико. — Покушайте, выпейте за ее счастье, благословите ее венец. А то она, бедняжка, так опечалена, что готова расплакаться. Велела передать: если, мол, и от этого откажутся, не хочу с ними больше знаться.

Товарищи переглядывались, спрашивая друг друга глазами, как поступить. Никому не хотелось обижать Кето. А кроме того, благодаря всеобщей забастовке, все были голодны и не решались отказаться от этого неожиданного и столь соблазнительного ужина. Наконец Нико нарушил молчание:

— Тетя Анико, ведь в городе все лавки и магазины закрыты. Откуда вы достали столько снеди?

— Акакий помог, — ответила та. — Он ведь в комитете, ему это было нетрудно.

Друзья обменялись улыбками, но опять ничего не сказали. Анико и официанты ушли. Марта накрыла на стол. Товарищи с аппетитом принялись за еду и, наполнив стаканы вином, пожелали счастья Кето.

— Нет, не верю! — сказал Нико. — Не верю, что моя сестричка будет счастлива с Авшаровым! Там, где нет духовной близости, не может быть и счастья. Кето сама себя обманывает и будет еще когда-нибудь горько раскаиваться.

— Я предостерегала ее, но... — начала Марта и оборвала на полуслове — она не хотела раскрывать перед всеми тайную цель Кето, известную только ей, Зурабу и Нико.

Через полчаса Нико раскупорил бутылку шампанского. Пробка хлопнула, взлетела в потолок; пеннистая струя с шипением полилась в бокалы. Приятелям впервые в жизни приходилось отведать этого прох-

ладного, пощипывающего язык напитка. Приговор их был благоприятным.

— В самом деле чудесно!.. У буржуазии губа не дура!.. Очень нежное, тонкое вино. Замечательное, но с кахетинским все же не сравнится.

Раздался условный стук в дверь. Появился Акакий. Сюртук у него был расстегнут, руки заложены в карманы брюк, лицо пылало. Он нетвердо держался на ногах. Все изумленно уставились на него. Зураб повернул стул и сел к нему спиной.

— Привет товарищам!— воскликнул Акакий с деланной непринужденностью.

Никто не отозвался на его приветствие. Одна только Марта встала и подала гостю стул. Акакий изменился в лице. Он помолчал несколько мгновений и пролепетал:

— Что с вами? Что-нибудь случилось?

Ему ответил младший брат:

— И ты еще спрашиваешь! Опозорил нас, осрамил на весь свет! Завтра весь город будет говорить...

— Чем я вас опозорил? Тем, что поцеловался с Авшаровым?

Нико вскочил с места.

— Разве этого недостаточно?— он ударил кулаком по столу и повысил голос. — Это измена! Поцелуй Иуды! — он умолк и вдруг закричал:

— Да, да это иудин поцелуй! Ты понял, что я сказал?

— Не кричи, а то жандармы там, наверху, услышат и явятся сюда, — ответил с улыбкой Акакий. — Это все Илико. Обманул меня! Все, мол, поцеловались с нашим зятем, поцелуйся и ты. А тут сам Авшаров потянулся ко мне... Но оставим это! Я не собираюсь оправдываться...

— Твоих оправданий только нам и не хватало!— перебил его Нико. — Ты хотел этим поцелуем «перекинуть мост» и в самом деле его перекинул... Но знай, что он очень непрочен, этот твой мост. Мы его разрушим и всех вас сбросим в пропасть.

— Пусть так, — спокойно ответил старший брат. — Но я все же скажу тебе...

Акакий хочет сказать брату, что третьего дня все переменялось, настали новые времена; что партия не должна пускать в ход оружие, но не должна и складывать его; что правительство напугано и будет вынуждено осуществить обещания манифеста; но что войска все еще верны престолу и, если дойдет до кровопролития, революция неизбежно окажется побежденной и все, что сегодня завоевано трудящимися, будет утрачено.

— Довольно! Хватит! Мы все поняли!..— прервали Акакия Нико и его друзья.

И только Зураб сидел молча, повернув к нему спину.

— А ты что скажешь, Зураб?— спросил его сконфуженный Акакий.

— Все, что можно было сказать, ты уже слышал,— холодно ответил Гургенидзе, не поворачиваясь к нему лицом.

— Что ж, хорошо! Поговорим обо всем этом в другом месте!— сказал Акакий, и в голосе его прозвучала угроза.— Посмотрим, на чью сторону встанет большинство.

— Не сегодня — завтра прольются потоки крови... А этот все цепляется за свое большинство!— бросил Зураб вдогонку протиснувшемуся бочком в дверь адвокату и после короткой паузы добавил. — Нет, мы не дрогнем, товарищи! Судьба революции будет решаться не на митин-

гах, не поднятыми руками голосующего большинства, а в упорном и беспощадном бою, самоотверженным порывом вооруженного пролетариата!

— Верно!.. Правильно!.. Так и будет!— подтвердили остальные. Скоро они разошлись.

* * *

Близился рассвет. Жандармы во главе с полковником Безгиным давно ушли. Григол проводил в гостиницу новую свою свойственницу Галину Сигизмундовну, вернулся, чтобы попрощаться с новобрачными, и отправился спать. Димитрий последовал его примеру. Акакий и Тамара незаметно исчезли. Все дальние знакомые семьи Ахатнели — и среди них офицеры — тоже разошлись. Андро клевал носом. Мариам дремала в своем кресле. И только в квартире Цверадзе молодежь и кутилы в черкесках продолжали пировать. Оттуда доносились шум, взрывы смеха, песни и частые хриплые возгласы.

— Пора и нам уходить, любовь моя!— сказал, вставая, Авшаров изнемогавшей от усталости Кето.

Все поднялись с места. Глаза у Кето наполнились слезами. Она неожиданно бросилась на шею матери и разрыдалась. Потом прижалась к отцу. Ее снова усадили, дали воды, стали успокаивать. Наконец она встала и заглянула в свою осиротевшую комнату. Хотела Кето попрощаться с девичьим гнездом, но к горлу снова подступил комок, и она не решилась войти. Комната была почти пуста. Кое-что из вещей уже перевезли к Авшарову, а остальное, наверно, унесут завтра...

Авшаров подал Кето летнее пальто, взял ее под руку и повел к двери. В соседней квартире послышался шум отодвигаемых стульев. Пир прервался.

— Увозят нашу красавицу! Отняли у нас! Увели!..— закричали наперебой гости и высыпали на лестницу.

Кето посмотрела в сторону и заметила в толпе какую-то незнакомую женщину, разглядывавшую ее с пристальным вниманием. Кето показалось, что она уже раньше видела эту женщину, но где, при каких обстоятельствах? Этого она не могла припомнить.

— До свидания! До завтра! — говорил Кето молодые люди.

Кето искала среди них Климиашвили и Цверадзе, но ни того, ни другого не было — они не пришли на свадьбу.

Вот к ее руке прильнул губами Элизбар Шукураули — прильнул и горячая слеза обожгла запястье Кето. Она с печальной улыбкой посмотрела на лохматую голову студента и не отнимала руки до тех пор, пока тот сам не выпустил ее.

Новобрачные вышли на улицу, сели в фаэтон и обменялись прощальным приветствием с провожающими. И вдруг Кето явственно вспомнились шантан, эстрада, мадам Гопкинс в своем блестящем, чешуйчатом платье и ее вызывающий, бесстыдный, похотливый танец. «Это она! Та самая бесстыдница!» — подумала Кето, подозвала стоявшего рядом Илико и шепнула ему на ухо:

— Надо самому не иметь ни стыда, ни совести, чтобы привести на свадьбу сестры эту бесстыжую тварь! Илико, ты просто негодяй!

Илико громко расхохотался в ответ и принялся целовать руки сестры, не обращая внимания на ее сопротивление. Авшаров, услышав негодующие слова Кето, тоже захохотал и крикнул кучеру:

— Трогай! И гони побыстрее!

Заспанная горничная открыла молодоженам дверь, окинула их дерзким взглядом, приняла от них верхнее платье и последовала за Кето в спальню, чтобы помочь ей раздеться.

— Ступай спать. Обойдемся без тебя, — грубо бросил ей Авшаров.

— Нет, останься! — вмешалась Кето. — Уходи лучше сам отсюда, — повернулась она к мужу. — Выйди, а то я совсем не стану раздеваться!

— Убирайся, слышишь! — прикрикнул на горничную Авшаров.

В эту самую минуту в соседней комнате громко, настойчиво зазвонил телефон. Авшаров вздрогнул, но оставил звонок без внимания и принялся стаскивать с себя узкие сапоги. Однако телефон не унимался и звонил беспрестанно, с короткими перерывами, как бы подавая условный сигнал. Авшарову ничего больше не оставалось, пришлось подойти к телефону. Бормоча себе под нос яростные ругательства, он вышел в соседнюю комнату, и до Кето донесся через дверь его голос:

— Слушаю... Это я, господин полковник. Приехать? Как, сейчас? Но мы только что вернулись, и... Вы понимаете, в каком я положении. Разрешите мне явиться через час... Неужели нельзя провести совещание без меня? — внезапно тон его резко переменялся, и он закончил покорно, хотя и с плохо скрытой досадой. — Слушаюсь, господин полковник! Через десять минут буду на месте.

Кето усмехнулась и облегченно вздохнула.

А Авшаров, раздосадованный, расхоложенный, торопливо натягивал мундир, сердито бурча:

— Какое бесстыдство! Какое нахальство! И понадобилось же — в такую минуту!

* * *

Кето проснулась от телефонного звонка. Она поспешно вскочила, сунула босые ноги в расшитые бархатные домашние туфли и побежала в соседнюю комнату.

— Слушаю. Артемий, это ты? Да, да... Очень хорошо спала... А ты что делаешь? Неужели совсем не ложился?

Муж сообщил ей, что вряд ли сумеет вернуться домой до вечера. Сегодня в городе устраивается патриотическая демонстрация, возможно, произойдут беспорядки, и он советует Кето не выходить из дому.

Горничная Эка открыла ставни и впустила в спальню ласковые лучи нежаркого октябрьского солнца. Потом стала помогать Кето одеваться и сказала с усмешкой:

— Бедный барин. Не вовремя его вызвали!

Вдруг за спиной у Кето раздался пронзительный крик:

— Кето дура!

Молодая женщина оглянулась и увидела клетку с яркозеленым, носатым попугаем.

— Кето дура! Кето дура! — повторила несколько раз заморская птица.

Эка звонко расхохоталась.

— Чей попугай? Кто его научил? — спросила, развеселившись, горничную Кето.

— Нынче утром какой-то студент принес вам эту птицу в подарок и сказал, что ее тоже зовут Кето, — ответила Эка и описала внешность студента.

Кето без труда узнала по ее рассказу Элизбара Шукураули. С улыбкой подошла она к клетке, приласкала попугая и, забыв все свои огорчения, принялась осматриваться в своем новом жилище.

Перед тем, как приобрести от своего переведенного в Варшаву приятеля эту квартиру, Авшаров привел сюда Кето и Мариам и получил их согласие. С тех пор здесь мало что изменилось — новыми были только обстановка спальни, купленная Мариам в подарок дочери, и вещи Кето: платье, белье, посуда и множество полезных и бесполезных предметов, привезенных сюда вчера и еще не разложенных и не расставленных по своим местам.

Картину с изображением Юдифи Авшаров поместил в своем кабинете. Она висела в затененном углу, и от этого прекрасная Юдифь на полотне выглядела еще живей и как бы еще прекрасней. Кето с удовольствием посмотрела на картину и подумала, улыбнувшись: «Не знает мой муж, что у него не одна, а две Юдифи... Что ж... Пусть никогда и не узнает».

Кето была одна. Она попыталась выдвинуть ящики письменного стола Авшарова, но они оказались запертыми. Кето разыскала ключи от своего собственного стола, стоявшего теперь в ее новой спальне. Ключей было два. Кето вставляла их то в один замок, то в другой. Четыре замка не поддавались никаким ее усилиям, но пятый неожиданно открылся, и Кето увидела в ящике стопку канцелярских папок. Кето не стала доставать их, а развернула верхнюю папку прямо в ящике и торопливо, с жадным любопытством принялась просматривать подшитые бумаги. Вдруг Кето вздрогнула: на одном из листков ей попались на глаза фамилия Гургенидзе и прозвище его «Барс». Из Баку сообщали, что Гургенидзе приезжал на несколько дней и уехал обратно в Тбилиси. То же самое писали из Батуми и Кутаиси. Тут же было подшито несколько протоколов, справок и донесений, а между ними лежал неподшитый листок с несколькими торопливо набросанными карандашом заметками: «Барс привел на кладбище какую-то красивую девушку. Погнался за нашим агентом, чтобы его убить... Произнес возмутительную речь...» Агент доносил, что еще дважды встречал «Барса», но тот оба раза узнал его и принудил спастись бегством. Тут же рядом было написано бледными, неразборчивыми буквами: «Рысь помогает нам. Заплачено за сведения сто рублей, обещано еще триста».

Кето тотчас же вспомнила некоего арестанта по прозвищу «Орел», который признался Авшарову, что в столкновении с убитым жандармом принимали участие вместе с ним «Девушка» и «Рысь». Кето сообщила об этом Зурабу несколько дней тому назад, и тот предупредил на митинге в Надзаладеви обоих оговоренных «Орлом» людей. И вот теперь эта самая «Рысь» помогает Авшарову. На листке совершенно ясно и недвусмысленно написано: «помогает». За эту помощь уже заплачено и обещано, что вознаграждение это — не последнее. Совершенно очевидно, что Зурабу грозит смертельная опасность.

Кето стала читать дальше. Кое-чего она не разобрала, кое-что попросту пропустила и, наконец, дошла до последних, четких и легких строк: «Полковник Безгин приказал не арестовывать Барса до тех пор, пока не будут найдены подпольная типография и тайный склад оружия, а тем временем установить тщательное наблюдение за квартирой Довлаташвили».

Кето была поражена ужасом. Она заперла ящик и решила немед-

ленно побежать домой, чтобы через кого-нибудь предупредить, предостеречь Зураба. Но в этот час она, конечно, не найдет там ни Марты, ни Левана, ни своего брата Нико! Да и, кроме того, Кето предпочитает — это гораздо вернее! — иметь дело непосредственно с Зурабом. А Зураб сейчас, конечно, на улице. С того дня, как обнародовали манифест, он почти уже не скрывается. Но чтобы выйти из дому в такое время да еще после прямого мужнего запрещения, Кето необходима веская причина. Иначе Артемий разбранит ее и омрачит ей первый же день супружеской жизни.

Родители и близкие Кето придут навестить ее вечером. Галина Сигизмундовна нездорова — Авшаров сказал по телефону, чтобы Кето сегодня не ждала ее. «А если так, то, пожалуй, мне самой следует навестить к свекрови, — подумала Кето. — Она ведь совсем одна, некому воды подать!» Да притом, если Кето зайдет к Галине Сигизмундовне, это не будет нарушением приказа Артемия. На этих тихих улицах никогда не бывало никаких беспорядков; не будет их, разумеется, и сегодня. Опасен только Головинский проспект, но Кето пересечет его в одно мгновение, потом пробежит сотню, другую шагов — и она уже в «Орианте», у свекрови.

Если Зураб попадется ей по дороге — очень хорошо; а если нет, то Кето забежит на обратном пути к Марте и все ей скажет.

Итак, решено. Эка, помоги барыне одеться. Нет, нет, не надо шляпы «парадиз» — она слишком торжественно выглядит и сегодня совершенно неуместна. И горностаевый палантин тоже не нужен. На дворе почти жарко, вполне достаточно летнего пальто. К этому пальто пойдет голубой зонтик — подай его, Эка!

Через десять минут Кето была уже на Головинском проспекте и смешалась с многочисленной пестрой толпой, запрудившей широкие тротуары. Улица была перегорожена цепью полицейских, которые не пропускали никого по направлению к дворцу наместника. Конные жандармы и казаки медленно разъезжали взад и вперед по мостовой. В Александровском саду заняла позицию целая рота солдат.

Со стороны Верийского спуска размеренным шагом шествовали манифестанты. Их было тысячи две. Впереди несли церковные хоругви, образа и портрет Николая Второго. Манифестантов охраняли с боков и тыла драгуны и казаки. Толпа медленно двигалась по проспекту и пела «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое». Авшаров предводительствовал полуэскадрой жандармов. Он с горделивой осанкой ехал на белом коне, надменно и грозно поглядывая вокруг.

Увидев вдали своего мужа, Кето круто повернула и ударилась в бегство. С трудом протиснувшись через толпу, она остановилась на углу Классической улицы, возле ресторана «Хлеб-соль». Дальше идти было нельзя — полицейские никого не пропускали. Кето заметила в толпе своих друзей — Лели Джорджадзе и ее мужа Вачнадзе, и улыбнулась им издали. Подойти ближе в этой тесноте было невозможно. Вдруг она услышала голос Акакия. Старший брат Кето стоял тут же рядом и что-то горячо доказывал Зурабу. Гургенидзе, не обращая на него внимания, молча глядел на приближающуюся толпу манифестантов. Но вот он обернулся, заметил Кето и с улыбкой приветствовал ее.

— Мое почтение, прекрасная Кетеван!

— А, Кето, и ты здесь? — воскликнул Акакий и, не дав ей вымолвить ни слова, торопливо продолжал, — скорей уйдем отсюда; сей-

час здесь произойдет кровопролитие, — он рванулся вперед, пытаясь проложить себе дорогу в толпе. — Хулиганы совсем распоясались!

Но было уже поздно! Чтобы пробиться через всю эту гущу народа, понадобилось бы минут десять, не меньше. Между тем манифестация приближалась. «Патриоты», шествовавшие ближе к краю, осыпали всех и каждого отборной бранью и даже пытались пускать в ход кулаки, требуя, чтобы люди на тротуаре обнажали головы.

Кето оглянулась и внезапно среди солдат, устроивших засаду в сквере, увидела Сандро Климиашвили. Тот в свою очередь заметил ее и беспокойно засуетился. По-видимому, он видел и стоявшего рядом с ней Зураба — этим, конечно, и объяснялось внезапное волнение объятого жаждой мести поручика.

Но Кето ничего не сказала Зурабу, она понимала, что Климиашвили не осмелится сейчас ни на какие решительные действия. Тем временем волна манифестантов прокатилась мимо — задние ряды поровнялись с Кето, миновали ее... Кето вся сжалась, отвернула лицо, стараясь, чтобы Авшаров не заметил ее. На противоположном углу Классической улицы, в двух шагах от нее, оживленно переговаривалась кучка гимназистов. Двое или трое юношей были ей знакомы. Впереди стоял дальний ее родственник — восьмиклассник Амиреджиби.

Внезапно из процессии вырвался какой-то чиновник. Подскочив к Амиреджиби, он ударил гимназиста кулаком по голове, сбил с него фуражку и хрипло заорал:

— Шапку долой, мерзавец! Изменник царя и отечества!

Самолюбивый юноша выхватил из кармана револьвер и выстрелил в упор. Чиновник взмахнул обеими руками и повалился навзничь.

Толпа охнула и содрогнулась, словно единое существо. Выстрел Амиреджиби был как бы сигналом. Кето на мгновение оглянулась и увидела, как Авшаров повернул коня, врезался в толпу на тротуаре, выхватил наган из кобуры и выпустил все шесть пуль в безоружных людей.

Кето закричала от ужаса. Сильные руки «Барса» обвили сзади ее стан. Зураб нажал плечом, толкая молодую женщину вперед, и кричал ей прямо в ухо:

— Проталкивайтесь! Скорей, скорей, вперед!

Заполненная народом улица через несколько секунд превратилась в поле битвы. Солдаты выскочили из сквера, рассыпались по мостовой и подняли стрельбу. Засвистели пули. Казаки и драгуны хлестнули лошадей, обнажили шашки и пошли в атаку. Ряды манифестантов рассыпались. «Патриоты» ненадолго приостановились, потом вдруг единодушно грянули «Боже, царя храни» и покинули поле сражения.

Акакый, всклокоченный, без шляпы, со всех ног бросился вслед за ними, размахивая руками и голося:

— Не стреляйте!.. Я свой!.. Я из ваших!.. Боже, царя храни-и-и...

Догнав толпу манифестантов, он укрылся в задних ее рядах, добрался вместе с «патриотами» до дворца наместника, и, свернув направо, бегом пустился домой.

Кето старалась протиснуться сквозь толпу, но почти не двигалась с места. Сзади напирал Зураб, крича ей в ухо:

— Держитесь крепко на ногах! Если упадете, то не сможете подняться, и вас затопчут!

Давка была невообразимая; со всех сторон слышались стоны, кри-

ки ужаса. Сзади доносились звон шашек, шелканье затворов, буханье выстрелов и свист пуль. Кето перешагнула через одно человеческое тело, потом через другое. Впереди мелькнула шляпа Лели Джорджадзе и студенческая фуражка ее мужа. Вдруг и та и другая исчезли.



— Лели убили! — вскрикнула Кето и через мгновение, в самом деле, споткнулась о тело подруги.

Лели билась на земле, под ногами у толпы, тщетно пытаясь подняться.

— Лели! Лели! Бедная Лели!

Кето нагнулась, чтобы помочь подруге, но Зураб силой повлек ее дальше.

— Осторожней! Не упадите! Погибнете вместе с нею! Вперед! Скорей, скорей!

И он втолкнул потрясенную молодую женщину в летний сад ресторана «Хлеб-соль».

* * *

Объятые ужасом люди бегут кто куда, не разбирая дороги. Каждый готов забиться в любую щель, укрыться в первой попавшейся дыре. Кто-то влез в мусорный ящик и накрылся крышкой. Женщина с развевающимися, растрепанными волосами вышибла кулаками стекла в ближайшем окне и, не обращая внимания на кровь, хлещущую из ран, перелезла через подоконник. За ней, как овцы за вожаком, последовали еще человек десять.

— Лели! Лели!

— Тише, Кетеван! Не надо кричать! Может, она жива! Может, еще спасется! — успокаивал молодую женщину Зураб, таща ее за руку, словно ребенка.

В тесном садике ресторана царил переполох. Слышались крики, брань, визг; хозяин заведения, Миминашвили, метался между столиками, как угорелый и собирал посуду. Зураб не дал Кето ни секунды передышки; они бегом пересекли сад, свернули влево и побежали по кирпичной лестнице куда-то вниз, в подвал. Две большие лампы, горевшие под потолком, не могли рассеять сумрак, царивший в обширном подземелье. Здесь спрятаться было негде. Человек двадцать неслись по лестнице со всех ног. Сзади гремели выстрелы.

— Скорей! Скорей! Бегом!

Зураб стал рядом с Кето, подхватил ее под руку и повлек ее дальше. Они еще раз свернули влево, наткнулись на новую лестницу, бежали по ступенькам дальше вниз и очутились в длинном и темном проходе. Зураб зажигал спичку за спичкой, освещая себе путь. Заметив заложенную засовом дверь, он толкнул ее и заглянул внутрь. За дверью оказался узкий тупик, в котором были навалены груды старой мебели, вороха сена и кипы матрасов. Зураб понял, что они находятся в подвалах гостиницы «Мухрани», и этот закоулок — один из ее складов. Вдруг где-то совсем близко раздались выстрелы; казалось грохот пушечных залпов раскатился по подземелью.

— Зураб! Идут!

— Скорей, сюда! Входите!

Он втолкнул Кето в этот туннель, закрыл за собой дверь, зажег спичку, чтобы осмотреться, и двинулся вперед; но они сразу же остановились, наткнувшись на высокую, чуть ли не до самого потолка, груды матрасов. За дверью послышался топот бегущих людей и крики. Зураб и Кето вскарабкались на эту гору, проползли по верху дальше, вглубь узкого помещения, и улеглись на мягком матрасе. Воздух здесь был спертый, затхлый, пахло сыростью и прелым сеном.

Через несколько мгновений воцарилось мертвое молчание. Потом пронзительный, отчаянный вопль разорвал тишину:

— Помоги-и-те-е!..

Раздался треск выстрела, и крик оборвался.

— Зураб, я боюсь! — зашептала Кето, обвивая обеими руками шею Гургенидзе. — Они идут сюда... Нас убьют... Помоги!..

— Тише! Успокойся!

Дрожь охватила Кето. Она тряслась, как в лихорадке, прильнув к груди Зураба, и часто, громко стучала зубами. А «Барс» сжимал в одной руке револьвер, другой же гладил волосы Кето, ласково приговаривая:

— Спокойней!.. Не надо бояться! Я здесь, с тобой! Никто тебя не посмеет тронуть!

— Ты мой спаситель, мой верный друг!.. С тобой мне ничего, ничего не страшно... Я никого не боюсь... — бормотала Кето, постепенно успокаиваясь.

Вокруг, казалось, воцарился покой. Не слышно было больше ни грохота выстрелов, ни леденящих душу воплей. Но Зураб и Кето все ждали не говоря ни слова.

Они забыли о времени. Сколько минут, часов или дней провели они так? Что делалось там наверху? Чем кончился весь этот ужас?

Вдруг откуда-то сверху, как бы издалека, до них донесся приглушенный шум. Оба напрягли слух и затаили дыхание. По подвалу ходили люди. Тяжелый топот солдатских сапог слышался все явственней. Зураб понял, что солдаты обыскивают подвал. В любую минуту они могут явиться сюда...

— Притаись и не издавай ни звука! — сказал он Кето и накрыл ее с головой одним из матрасов, сам же зарылся в сено и навалил на себя сверху другой матрас, из-под которого виднелись только его глаза и дуло револьвера.

Скрипнула дверь. Тусклый свет фонаря озарил узкое подземелье. На пороге толпились солдаты и жандармы, среди которых Зураб узнал Авшарова и Климиашвили.

— Кто здесь? Выходи сейчас же, а то будем стрелять! — крикнул унтер-офицер, протискиваясь в дверь; солдаты держали оружие наготове.

— Поищи хорошенько всюду! — сказал унтер-офицеру Климиашвили. — Я своими глазами видел, как этот негодяй вбежал в ворота...

Зураб счел лучшим в этих обстоятельствах спрятаться с головой под сено, готовый, если убежище его будет обнаружено, вступить в бой с жандармами и дорого продать свою жизнь.

Два солдата с трудом проложили себе путь среди груд беспорядочно наваленной старой мебели. Они обшарили каждый угол, влезли и на одну из кип матрасов, ткнули два-три раза штыками здесь и там и вернулись к своему начальству.

— Там никого нет, — донеслось до Зураба издалека.

Через несколько мгновений он поднял голову. Шаги постепенно затихли за стеной. Зураб откинул матрас, под которым лежала Кето.

— Это были твой муж и Климиашвили, — сказал он молодой женщине. — Они искали меня. Но теперь ты можешь быть спокойна. Все позади!

— Уф! Я чуть не задохнулась!

— Давай выйдем отсюда, переждем за дверью. Там больше воздуха.

Ощупью, шаря перед собой руками, они выбрались из своего тесного закоулка и облегченно перевели дух.

Тут только Кето вспомнила, для чего она сегодня вышла на улицу, и рассказала Зурабу обо всем, что она узнала.

— Ушам своим не верю! Так и было написано? «Рысь помогает нам»? И деньги ему платили? Ты сама своими глазами читала? — засыпал Кето вопросами ошеломленный Зураб.

— Да говорю тебе, я все читала сама! Зураб, милый, остерегайся «Рыси», кто бы это ни был!

— Ах, негодяй, предатель! Подлый изменник! Пусть он сам нас остерегается! Лучше ему провалиться в преисподнюю, если хочет скрыться от нашего суда!

Кето рассказала и о второй приписке. Известие это привело Зураба в изумление.

— Как, неужели и за квартирой Марты установлена слежка? Оба твои сообщения исключительно важны для нас. Кетино, милая, чем я могу тебя отблагодарить?

— Люби меня так же сильно, как я тебя люблю. Больше мне ничего не надо, — сказала Кето.

Зураб ответил:

— Вернись туда, где мы были, и подожди меня несколько минут. Я поищу выход и посмотрю, что делается вокруг.

Зураб втокнул Кето все в тот же закуток, усадил ее в сломанное кресло и, чиркая спичками, скрылся в темноте. Кето показалось, что он отсутствовал целую вечность. Наконец он вернулся, взял ее под руку и повел за собой. Они плутали по каким-то извилистым подземным коридорам, поднимались по крутым лестницам и вот очутились в одном из верхних этажей.

— Это — гостиница Мачавариани, — сказал Зураб. — Владелец знает меня и, быть может, согласится предоставить нам убежище. Но помни: мы с тобой не знакомы!

В это время в конце длинного коридора показался сам Мачавариани. Он шел быстрым шагом, угрюмый, озабоченный, на ходу отдавая коридорному какие-то распоряжения. Увидев Зураба, он изумился, ускорил шаг и уже издали спросил:

— Ты здесь? Цел, невредим? Господи, на что ты похож! Где это ты вывалялся в пыли? Кто эта дама?

— Не знаю, не знаком, — ответил Зураб. — Мы только что встретились на лестнице, и она пошла со мной. Скажи, твоей гостинице грозит еще опасность?

— Опасность!.. Какая там опасность? Худшего с нами ничего не могут сделать! Ограбили, разорили!.. У одной дамы отрубили палец, потому что не могли снять кольца!

— А что там внизу?

— Не спрашивай! Это было чудовищное избиение. Перестреляли и зарубили множество людей. Улица битком набита войсками. Советую пока не выходить туда. Побудь здесь, у нас, до вечера или же даже до завтра — иначе попадешь жандармам в лапы. Пойдем, я тебя спрячу.

— Мне нужно скорее домой, — сказала Кето. — Прошу вас, укажите, как выйти.

Зураб бросил на Кето быстрый взгляд. Конечно, ей не следует уходить сейчас, нужно переждать здесь некоторое время! Но он ничего не мог сказать ей — ведь они не знакомы! Зураб вынужден молчать. Он солгал Мачавариани для того, чтобы не компрометировать Кето, — и вот, эта ложь обернулась ей же во вред, сделала Зураба немым! Да, он ничего не может сказать Кето.

Кето вышла из гостиницы на Гимназическую улицу и пошла по ней вверх. Но часовой, стоявший на посту возле Первой гимназии, издали замахал ей:

— Нельзя, нельзя! Назад!

Кето повернула обратно, спустилась на Головинский и свернула в переулок у того самого угла, где часа два тому назад раздался первый выстрел и началась резня. Проспект превратился в военный лагерь. Все ближние дома были наводнены войсками. Людей, укрывшихся от кровопролития, выводили группами наружу, обыскивали, допрашивали и отправляли в комендатуру. Какой-то солдат преградил Кето путь и закричал:

— Стой! Кто такая? Куда?

— Я жена жандармского ротмистра Авшарова.

— Покажи паспорт!

— Паспорта у меня с собой нет.

— Ну тогда я вас отправлю к жандармам. Пусть сами разберутся. Ступайте за мной!

Кето смутилась. Если ее отведут в жандармское управление, Ав-

шаров узнает, что жена послушалась его, вышла, несмотря на его наказ, из дому и попала в эту переделку... Вдруг она заметила неподалеку поручика Климиашвили и сказала солдату:

— Зачем тебе идти со мной в такую даль? Вот тот поручик знает меня — спроси, он скажет, кто я такая.

• — Идем! — солдат направился вместе с Кето к поручику.

Какая-то маленькая девочка, растрепанная, с расширенными от ужаса глазами, металась по улице, цепляясь за прохожих и жалуясь всем и каждому:

— Тетя, мамочку убили!.. Дядя, убили мою маму!..

Девочка бросилась к Кето, ухватила маленькими ручонками за ее платье, подняла к ней глаза, полные слез, и пролепетала:

— Тетя, маму мою убили! Помогите!

Слезы брызнули у Кето из глаз. Она хотела подхватить ребенка на руки, обнять его, покрыть поцелуями, успокоить, унести подальше от этого ужасного места... Но девочка уже увидела на улице кого-то другого и рванулась к нему со своей отчаянной жалобой:

— Дядя, помогите! Маму мою убили!

Здесь и там на улице валялись тела убитых. На тротуарах атели лужи крови. Дворники и грузчики-муши уносили трупы на носилках и сваливали их в фургоны. Вдруг Кето увидела на тротуаре трупы своей подруги Лели и ее мужа, которых затоптали сегодня у нее на глазах, и громко вскрикнула.

— Идем, идем! — грубо заорал на нее солдат. — Тут немало ваших валяется, всех не оплачете. Идем, говсрю!

У Кето кружилась голова. Она собрала все силы, сжала губы, зажмурила глаза и шатаясь подошла к поручику Климиашвили. Тот встретил ее ледяным взглядом:

— Что вы здесь делаете? Откуда изволите идти?

— Я была в гостинице... Вон там... У моего дальнего родственника, Котэ Кипиани. Я зашла к нему на минуту, с визитом, и тут как раз начался этот ужас.

— Извините, но, когда начался этот «ужас», вы стояли вон там, на углу, перед гимназией, и беседовали с Гургенидзе, — поправил ее сухо Сандро. — Ну, а теперь скажите, где вы с Барсом скрывались все это время? И куда он делся сейчас?

Кето залилась краской до самых ушей.

— Откуда мне знать?.. — залепетала она. — Я не видела его с той самой минуты... Я же сказала вам, что заходила к Кипиани...

— Значит, это в гостях у Кипиани вы испачкались с головы до ног в пыли? — спросил, насмешливо улыбаясь, Климиашвили. — Итак, что вам от меня угодно?

— Этот солдат не верит, что я — жена Авшарова.

— Я подтверждаю, что эта дама в самом деле — супруга ротмистра Авшарова, — сказал поручик солдату. — Проводи!

— Спасибо, Сандро, — сконфуженно пробормотала Кето и повернулась, чтобы уйти, но наткнулась на долговязого, белобрысого человека, который все время стоял у нее за спиной, прислушиваясь к разговору.

Кето вздрогнула. Она узнала белобрысого, и тот в свою очередь узнал ее. Это был агент Авшарова — тот самый, что крутился на кладбище во время похорон рабочего. Кето вспомнила, как Зураб обратил шпиона в бегство и как тот скрылся в глубоком овраге. И вот белобрысый стоит перед Кето и смотрит на нее изумленными глазами! Должно быть,

не верит своим ушам: как это давешняя спутница Гургенидзе оказалась женой Авшарова?

Солдат вывел Кето из оцепленных улиц и вернулся на свой пост. Авшарова еще не было дома. Кето переменяла платье, умылась, отпустила Эку, вытянулась в качалке и только теперь почувствовала, как она измучена и как устала — устала смертельно, телом и душой. Напряжение минувших часов наконец отпустило ее — она вся обмякла, полузакрывает глаза и тихо заплакала.

Боже мой! Чего только не приключилось с Кето за эти несколько часов! Она узнала секреты Авшарова и выдала их. Она ослушалась мужа, вышла на улицу и оказалась свидетелем резни. Там, на глазах у нее, Артемий стрелял в безоружных людей. Подруга Кето и ее муж погибли ужасной смертью под ногами толпы. Было убито множество ни в чем не повинных горожан. Кето заползла в темную нору, как лисица, преследуемая охотниками. Сандро уличил ее во лжи; возможно, что он уже раньше успел рассказать Авшарову, как Кето и Зураб вместе вбежали в ворота ресторана «Хлеб-соль», а если еще не успел рассказать, то может сделать это в любую минуту... А тогда Кето бесповоротно утратит доверие своего мужа. И откуда взялся этот проклятый белобрысый шпион?

«Боже мой, как трудно, оказывается, быть Юдифью! Едва я успела войти в эту роль, и у меня уже все рушится, все идет прахом...»

Звон колокольчика у входной двери вывел ее из задумчивости. Кето вытерла слезы, собралась с духом и побежала встречать мужа. Смеясь, она бросилась на шею Авшарову и забросала его упреками:

— Как тебе не стыдно, Артемий? Где ты до сих пор?.. Заставляешь ждать себя целый день! Я совсем измучилась тут одна!

— Кето дура! — заорал над головой у нее попугай.

С замиранием сердца и с трепетом наблюдала Кето за своим мужем. С тех пор каждый раз, когда он возвращался домой, она с тревогой заглядывала ему в глаза, стараясь угадать, известно ли ему что-нибудь? Сообщил ли начальству белобрысый шпион, что красивая девушка, сопровождавшая Гургенидзе на кладбище, и супруга ротмистра Авшарова — одно и то же лицо? Знает ли ротмистр, что Кето была на улице в тот страшный день, и что Зураб спас ее от резни, скрывшись вместе с нею? Догадывается ли жандарм, что Кето шарит ежедневно в его столе и туго набитом портфеле, копается в его бумагах и тщательно уничтожает все следы своих поисков, чтобы не возбудить ни малейшего подозрения в своем многоопытном, натасканном в тайных сыскных делах супруге?

Прошло два месяца. Авшаров, казалось, успокоился и даже повеселел. Однажды утром он поделился с Кето своими заботами и огорчениями: манифест не принес желаемых плодов — напротив, смута в стране разрослась. Народ сбросил узду, завладев улицей, и полон ярости больше, чем когда бы то ни было.

— Достаточно перечислить только здешние события, — сказал Авшаров. — Железная дорога разрушена в целом ряде пунктов. Множество верных нам людей погибло в стычках. Митингам нет конца. Газеты совсем сорвались с цепи и наводнили страну крамольными и подстрекательскими статьями. Участились дезертирство, не хватает солдат, а новых пополнений нам не дают. Целая область Грузии, Гурия, чуть ли не совсем откололась от империи. наших людей оттуда выгнали и выбрали всюду свои собственные органы власти. Сейчас Гу-

рия — настоящая независимая республика. Генерал Грязнов кое-как убедил Воронцова послать в Гурию карательные отряды, чтобы огнем и мечом навести там порядок, но тут вмешалось ваше бестолковое дворянство, и дело отложили на неопределенное время.

Услышав слово «бестолковое», Кето нахмурилась. Авшаров сразу заметил это и не дал ей времени для возражения.

— Да, да, бестолковое, именно так я и сказал! Революция разорила ваших дворян, мужики выгнали их из деревни и разгромили их усадьбы, многие помещики убиты... А они, вместо того, чтобы мстить, умоляют правительство: не трогайте крестьян, пусть они сами образумятся! Нет, ваше дворянство выродилось и разложилось, оно заслуживает еще худшего!

— Ты прав, Артемий! — сказала Кето с кислой улыбкой.

— Но довольно об этом, отложим нашу беседу. Я опаздываю на службу. Одно мне все же ясно: похоже, что мы идем ко дну.

— Пошевелите рукой, проявите мужество и не погибнете, — посоветовала мужу Кето, провожая его до дверей.

— Вчера вечером мы потеряли «Рысь», — сказал как бы вскользь Авшаров в дверях и, внезапно обернувшись, уперся в глаза Кето испытующим взглядом.

Кето вздрогнула, смутилась.

— Кто это — «Рысь»? — спросила она наконец.

— Будто не знаешь?

— Нет, не знаю... — пролепетала Кето.

— Это был известный революционер. Террорист.

— Революционер? Террорист? Почему же это «вы» его потеряли?

— Потому что... Да теперь, впрочем, уж нечего скрывать: не вовремя его убили! На днях он должен был выдать нам твоего друга Гургенидзе.

Кето совсем растерялась.

— Почему ты считаешь Гургенидзе моим другом, Артемий? — пробормотала она, покраснев до корней волос.

— Да потому, что ты его спасла когда-то от каторги.

— И только? — с трудом выговорила Кето, пряча от мужа глаза.

— Чего же тебе еще?

Кето облегченно вздохнула, пожала плечами и пробормотала:

— Странно ты шутишь! Я и в глаза не видела Гургенидзе с тех пор!

— Прости меня! Я и в самом деле шутил, — успокоил ее Авшаров. — Но одно я все же скажу: ты была бы ошеломлена, поражена, если бы узнала о Гургенидзе все. О, ты и не представляешь себе, кто такой этот твой герой Зураб!

«Артемий бродит в темноте, — обрадованно думала Кето, оставшись одна. — Но ясно, что Зураб — революционер гораздо более значительный, чем я воображала. «Ты не знаешь, кто такой твой Зураб!» Однако, кажется, у моего мужа зародилось подозрение. Будь осторожна, Юдифь!»

Вначале Кето удавалось открывать только один ящик письменного стола Авшарова. В этом ящике ее муж хранил лишь самые незначительные бумаги. Дело Гургенидзе куда-то исчезло — по-видимому ротмистр переложил его в другой ящик или унес на службу. Кето долго возилась с остальными ящиками, но ничего не могла поделать. Но вот несколько дней тому назад муж ее вернулся домой на рас-

свете. Утром, когда Кето открыла глаза, он еще крепко спал. Из кармана его брюк, висевших на спинке стула, высовывалась цепочка, к которой было прикреплено несколько ключей. Кето тихо спустила ноги с постели, подошла на цыпочках к своему столу и достала из маленькой коробочки кусочек воска. С бьющимся сердцем, затаив дыхание, принялась она за работу. Через несколько минут оттиски всех пяти ключей были готовы. В тот же день она отнесла их к слесарю и вечером получила готовые ключи.

Проводив мужа за дверь, Кето вернулась в гостиную, открыла окно и следила за удаляющимся Авшаровым до тех пор, пока он не скрылся за далеким поворотом. Кето была совсем одна. Свекровь ее давно уже уехала домой, в Россию. В этот утренний час никто к ней не мог прийти. Оставалась еще Эка. Ее надо было остерегаться. Эка ходила неслышно, имела манеру внезапно появляться в комнате и вообще вела себя так, точно выслеживала Кето и расставляла ей сети.

Недавно Кето подарила ей ситцу на платье, прибавила к этому надетые, но почти новые туфли, белье и множество всяких мелочей. Эка рассыпалась в благодарностях и клялась в верности своей госпоже. Но в душе у Кето все же оставался смутный страх перед служанкой.

Скоро Эка должна была уйти за покупками на рынок. Но у Кето не хватило терпения дождаться ее ухода. Она торопилась узнать, подойдут ли добытые ею ключи к ящикам письменного стола. Прокравшись на цыпочках в кабинет, она стала пробовать ключи один за другим. После недолгой возни все четыре ящика поддались. Кето выдвинула их, заглянула внутрь, тотчас же снова заперла и влетела в столовую с пылающим лицом и с таким чувством, точно ее уличили в чем-то постыдном. Ящики были доверху набиты папками, письмами, фотографиями и всевозможными мелочами... Все это она разберет, прочтет, исследует потом, на свободе... Исследует до последней, самой мелкой бумажки, не оставив ничего без внимания.

В столовой Кето ждал завтрак. Она села у стола и налила себе кофе. Вдруг через застекленную дверь она увидела в галерее белобрысого. Кето вздрогнула и отшатнулась, чтобы спрятаться от его взгляда. Белобрысый прошел на кухню. Сердце у Кето заколотилось, неприятное предчувствие охватило ее. Она вспомнила, как на днях, выглянув лунной ночью из галереи, заметила во дворе какую-то долговящую фигуру. Фигура быстро пересекла двор и скрылась за воротами. Ночной посетитель чем-то напомнил ей знакомого белобрысого шпиона... Но кто бы он ни был, решила Кето, — это, очевидно, любовник Эки. И неясный страх проник ей в душу.

Через несколько минут вошла Эка и доложила:

— Какой-то человек желает вас видеть, сударыня.

— Кто он? Как его фамилия?

— Не знаю.

Кето не поверила. «Знаешь, милая, прекрасно знаешь... Только притворяешься, обманываешь меня!»

— Пусть пройдет в гостиную, — сказала она после минутного размышления и направилась туда сама.

Белобрысый вошел с безмятежной улыбкой на лице и остановился посреди комнаты, заложив за спину руки. Почтительно поклонившись хозяйке, он сказал:

— Разрешите...

— Садитесь, — разрешила Кето, но сама осталась на ногах. — Кто вы? Что вам угодно? — спросила она холодно.

Белобрысый медленно опустился в кресло, наклонил голову, потом поднял к Кето ласковый взгляд и спросил с улыбкой:

— Не узнаете?

Его циничная улыбка, его фамильярный вопрос и развязные манеры показали Кето верхом наглости. Но она сдержала накопивший гнев и ответила спокойно и твердо:

— Не припоминаю... По-моему я вас никогда не видела.

— В первый раз мы встретились с вами на кладбище, — напомнил ей белобрысый, и довольная улыбка с этой минуты уже не покидала его узких, сухих губ. — Вас привел туда Гургенидзе. Барс присутствовал и на вашей свадьбе. Он и его приятели сидели в нижнем этаже, у Марты Довлатовой. Вы послали им туда целые горы еды и питья — уж они попиروвали на славу! Даже шампанского отведали, хе-хе-хе... Господи, как вы переменялись в лице!.. Да вы на ногах еле стоите! Бог свидетель, у меня в мыслях не было оскорбить или огорчить вас! Клянусь моими детишками! Прошу вас, сядьте и спокойно выслушайте меня! Не бойтесь — я не собираюсь вредить вам и надеюсь, что и вы меня не обидете. Садитесь, садитесь, пожалуйста, а то и я встану! — и он в самом деле поднялся с места.

— Не утруждайте себя, сидите! — сказала ему Кето уже гораздо спокойнее, и сама устроилась рядом в кресле. Дрожь у нее в коленях унялась, она слушала, застав дыхание, и изо всех сил старалась собрать разбегавшиеся мысли. Надо немедленно что-то придумать! Надо отбрить этого негодяя так, чтобы пулей вылетел отсюда и впредь не смел даже проходить мимо ее дома!

Белобрысый снова сел и заговорил уже смелее:

— В тот день, возвратившись с кладбища, я обо всем доложил ротмистру, но скрыл от него имя и фамилию дамы, сопровождавшей Барса. О, я прекрасно знал все, и знал, что вы очень нравитесь господину Авшарову! Поэтому, щадя вас обоих, я пренебрег своим долгом. Точно так же я не докладывал вашему супругу, что Барс и его друзья отпраздновали вашу свадьбу в отдельном помещении. Более того — я был обязан арестовать Барса, но не хотел омрачать вам счастливый день и оставил его на свободе.

— Вы уверены? Вы в самом деле имели полномочия его арестовать? — спросила Кето с коварной улыбкой: она прекрасно помнила секретные заметки Авшарова, где говорилось, что Гургенидзе приказано пока не брать под стражу.

Белобрысый, казалось, смотрел в сторону, но при этом умудрялся видеть лицо и глаза Кето. Тут, однако, он круто повернулся к ней и вперил в молодую женщину изумленный взгляд:

— Откуда вам известно?

— Что мне известно? Что вы имеете в виду? — ответила с готовностью Кето, и глаза ее бесстрашно отразили нападение.

— Я спрашиваю, откуда вы знаете, собираемся мы или не собираемся в настоящее время арестовать Гургенидзе?

— Я ничего не знаю! — возразила Кето, чувствуя прилив мужества. — И мне совершенно безразлично, будет он арестован или нет.

— Нет, сударыня! Вам это вовсе не безразлично! Мне все известно, — сказал убежденно тайный агент.

— Что вам может быть известно? Чего вы меня запугиваете? Как

вы смеете мне угрожать? — храбро отразила Кето эту новую атаку, стиснув в руке маленького бронзового льва работы Бельфора, лежавшего перед нею на столике.

Иронический взгляд агента был теперь устремлен на руку Кето.

— Боже меня сохрани! Я вовсе не запугиваю вас! Но мне известно, что в день патриотической манифестации Гургенидзе спас вас, что вы оба в течение трех часов прятались вместе в какой-то дыре, лежа рядышком на сене, и... больше я ничего не хочу говорить.

— Довольно! — прервала белобрысого Кето, вставая с места.

Белобрысый тоже поднялся. Склонив с почтительным видом голову, он проговорил спокойно и с достоинством:

— Извините меня, сударыня! Одно ваше слово — и я немедленно удалюсь, не издав больше ни звука!

После недолгого колебания Кето снова опустилась в кресло, схватилась было опять за бронзовую статуэтку, но тут же выпустила ее, закрыла обеими руками лицо и простонала:

— Бы пользуетесь тем, что я слабая женщина!.. Иначе вы не осмелились бы оскорблять меня!

— Упаси боже! — воскликнул белобрысый. — Как можно! Не извольте так говорить! У меня и в мыслях не было ничего дурного! Да и на что я мог бы намекать? Разве вы совершили в этом подвале что-нибудь постыдное или хотя бы неподобающее? Разве вы потом украли у вашего мужа ключи от стола, чтобы рыться в его секретных бумагах и передавать сведения тому же Барсу? Боже упаси! Как можно предполагать?.. Как вы могли бы позволить себе?..

— Боже мой, какая гадость!

— Разумеется, гадость, сударыня! — согласился белобрысый. — Правда, вы оба появились потом в гостинице, перепачканные с головы до ног в пыли, с приставшими к одежде клочьями сена... Но ведь это ровно ни о чем не говорит! Спустя четверть часа вы сказали поручику Климиашвили, что заходили в гостиницу навестить Котэ Кипиани. Однако от своего супруга вы предпочли это скрыть. Господин Кипиани действительно ваш знакомый, это верно, но он не живет там, где вы указали, хе, хе, хе. Да-с, он там не изволит квартировать. Но это тоже пусть останется между нами, сударыня. Мне известно кое-что еще, но пока достаточно и этого.

— Зачем вы пришли? Чего вы хотите? — спросила дрожащим голосом окончательно укрощенная Кето.

— Я желаю вам только добра, — вкрадчиво ответил агент, обрадованный своей победой. — Я — человек маленький, бедный. Не сегодня — завтра меня убьют. Моя жена останется с тремя сиротами без всяких средств к существованию. Я — верующий человек и больше всего на свете люблю своих детей. Они у меня голы, босы и голодны. А помощи ждать неоткуда. Собачья у меня служба — да нет, она слишком плоха даже для собаки!

— Подождите меня здесь, — оборвала его Кето, выбегая в соседнюю комнату.

Через несколько минут она вернулась с пачкой красненьких десятирублевок, которую сунула белобрысому.

— Вот вам... Оденьте и накормите ваших детей!

— Благодарю вас, сударыня!.. Премного вам благодарен!.. — повторил агент, изгибаясь в почтительном поклоне.

Потом вдруг, склонившись еще ниже, схватил руку Кето и уколол ее нежную кожу рыжей щетиной своих усов.

Кето с отвращением отдернула руку.

Узкие губы белобрысого растянулись в кривой усмешке:

— В тот раз на кладбище вы изволили подарить полицейскому прекрасное драгоценное кольцо... На месте этого полицейского я преподнес бы столь прекрасную вещь своей бедной жене... А он на другой день продал кольцо ювелиру и допился чуть ли не до белой горячки.

Кето поспешно сдернула с пальца кольцо с крупным рубином, похожим на алую мушку, прильнувшую к ее руке, и бросила его в протянутую ладонь белобрысого со словами:

— Вот вам! А теперь довольно, уходите!

— О разумеется, разумеется, довольно... И не только довольно, но даже слишком много. С этих пор я вас больше не буду беспокоить. Положитесь на меня, сударыня. Будьте благонадежны. Если вам понадобится что-нибудь, передайте мне через Эку, и я тотчас же явлюсь... Не стесняйтесь меня, мы с вами ведь старые друзья, сударыня! Благодарю вас!.. Премного благодарен!.. — бормотал агент, пятясь к дверям.

Белобрысый прошел в кухню. Кето проследила взглядом за ним, подумав: «Ясно, этот человек — любовник Эки. Все это дело они обмозговали вместе. И в то же время он — агент моего мужа, которому, впрочем, охотно изменяет. И теперь я в руках этого негодяя. Бог знает, чего я могу еще ждать от него. Боже, помоги мне!»

Белобрысый вскоре вышел из кухни и направился к черной лестнице. Эка проводила его, сказала ему что-то на прощание, потом вошла к Кето и попросила денег на хозяйство. Молодая женщина выдала служанке деньги, отправила ее, заперла двери и быстрым шагом прошла в кабинет Авшарова.

Окончание следует



НОВЫЕ СТИХИ

В СТАРОМ ТБИЛИСИ

Пришел из дальних стран
усталый караван,
Как будто на оси
пространства повернулись
Здесь говор и грузин,
и персов, и армян;
И смена крепостей,
домов, мостов и улиц.

Дудуки резкий звук,
стекла зазывный звон
И Пиросмани пьет
И пьет безрассудно.
А вот проходишь ты,
похожая на сон,
И угольщик Татэ
смеется белозубо.

Дана лишь только страсть,
А счастье — впереди,
И мокнут облака
В Куре, как будто сети.
И паровозный плач
Несется по степи.
Быть может лучший день
Начнется на рассвете.

* * *

Перелетят, перелетят
Рощи Иорские,
Кахетинские рощи
Ласточки — и улетят.

Зашелестят, зашелестят
Сухие и острые
Снега по оврагам —
— Зашелестят.

Элизбар Майсурадзе

Гардатенские дружки

РАССКАЗ

Перевод с грузинского К. Коринтели

— Эй, парень, зима на носу, время жену в дом привести! — добродушно посмеиваясь, говорят у нас в Гардатени старики холостым парням.

Да, осень в деревне — пора веселья, пора свадеб!

— Ведь осенью много вина и водки, а амбары полны хлеба, — скажете вы. Но нет, не только потому! Осенью у крестьян забот меньше. Разве в страдные дни сева или уборки урожая кто-нибудь из колхозников помышляет о свадьбе сына или дочери?

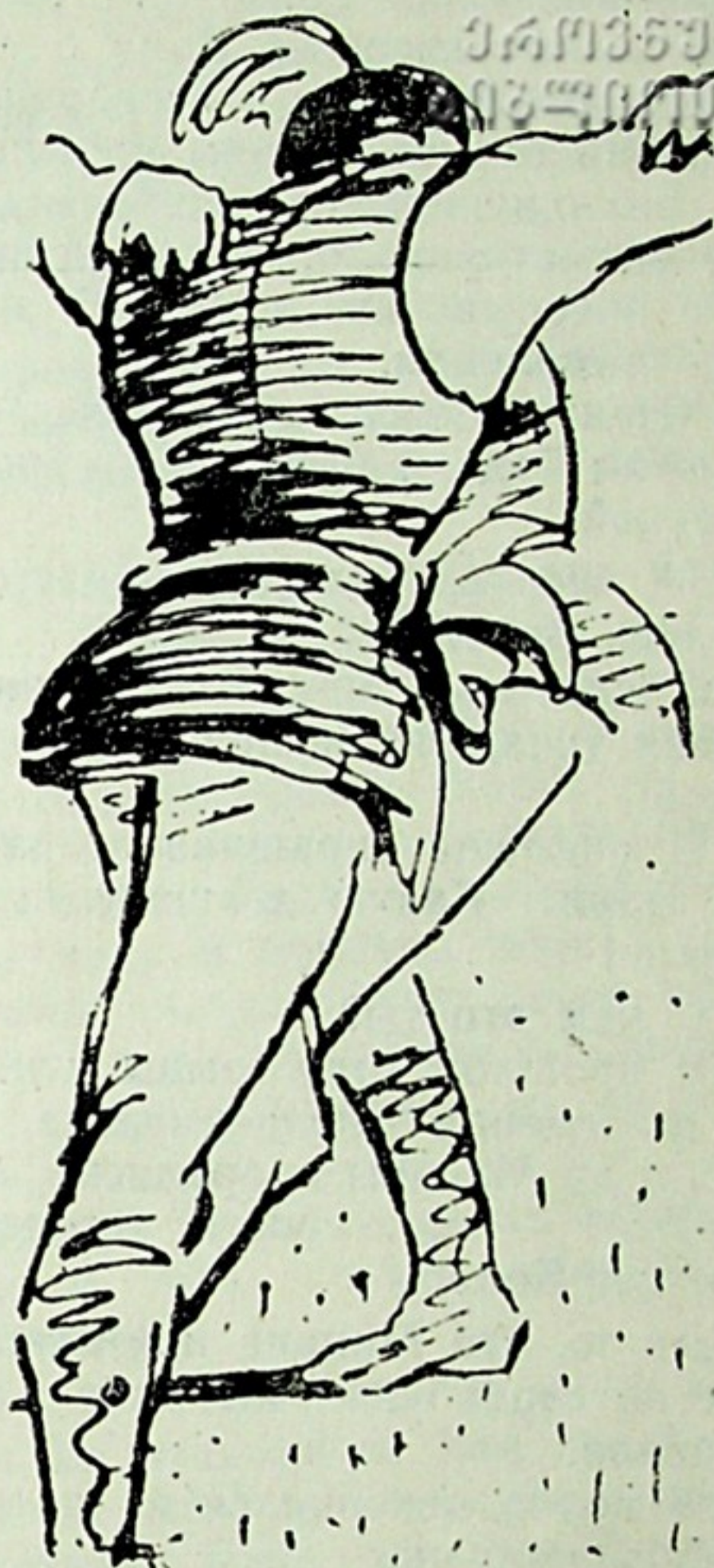
Поистине хороша наша осень! Щедрая, благодатная, теплая осень.

Именно такая осень пришла в этом году в село Гардатени.

Был октябрь. Золотисто-рыжий ковер осенней листвы пламенел на влажной земле, а полуобнаженные деревья стыдливо кутались в яркие лохмотья своего когда-то пышного наряда. По утрам изморозь серебрила склоны Ксилисской горы, но всходило солнце, и его все еще горячие лучи быстро расправлялись с этим первым вестником зимы.

Сбор винограда уже закончился, и теперь в огромных кувшинах бродило мачари. По улочкам, зажатым между буро-зелеными изгородями, расхаживали, чуть пошатываясь и улыбаясь, разрумяненные хмельным виноградным соком крестьяне.

В доме Пидо Джанна царила невероятная суэта. Принаряженные девушки то и дело бегали из комнаты на кухню, из кухни в погреб, на-



крывали столы, тащили блюда со всевозможной снедью, кувшины с вином.

Пидо справлял свадьбу своей единственной дочери Мананы.

Мананой гордились не только родители, но и весь колхоз, в котором она работала бригадиром. Любо было смотреть на эту ловкую, энергичную девушку. Стройная, черноглазая, всегда веселая, с толстыми длинными косами, она невольно привлекала к себе внимание.

В Манану был влюблен Кола, заведующий колхозной фермой. Скромный, тихий парень, он ревниво скрывал от окружающих свое чувство, и даже самые близкие его друзья ничего не подозревали. Но

в один прекрасный день тайна раскрылась. Это произошло две недели назад.

Перед колхозной конторой стояла группа ребят, которым Кола с увлечением рассказывал о вчерашнем состязании борцов. К ним подошел Тэдо Балалишвили и, подбоченившись, внимательно оглядел ребят, словно впервые их видел. Те невольно замолчали.

— Стойте, мух считаете!.. — проворчал Тэдо и безнадежно махнул рукой.

— А что случилось? — насто- рожились ребята.

Председатель, мрачный, точно грозовая туча, разразился гневной тирадой:

— И они еще спрашивают, растяпы этакие. Какую девушку проворонили!

— О чем это ты?

— В прошлом году гомцы у нас одну из лучших девушек увели, а теперь и до Мананы добрались!

— Что?! — не своим голосом вскрикнул Кола.

— Да то, что Манана приглашает нас на свадьбу! — выпалил Балалишвили.

Кола молча повернулся и шатаясь побрел прочь.

Удивленные парни проводили его недоумевающими взглядами.

— Нашел время сокрушаться! — крикнул ему вдогонку Балалишвили. — Горюй-не горюй — делу не поможешь!

Замужество Мананы не радовало Балалишвили. Ведь теперь Манану зачислят в гомский колхоз, соревнующийся с гардатенским. Так же неожиданно, как он говорил, гомцы «похитили» в прошлом году одну из лучших звеньевых колхоза — Маквалу Барнабишвили. Весь год Богвели — председатель гомского колхоза — посмеивался: «Что, отнял я у тебя героиню? Эх ты, да разве я отпустил бы из своего колхоза такую девушку!»

А теперь вот и Манана...

Гардатени — село не малое. Балалишвили не сомневался, что Манана выйдет замуж в своем же селе. Но случилось иначе.

Однако он поздравил Манану и пообещал даже быть шафером на свадьбе.

Рано угас короткий осенний день. Сгустились тени. Вскоре полная луна засияла на небе, и ее голубоватые лучи смешались с электрическими огнями Гардатени. По осеннему резко мерцали крупные синеватые звезды. Во дворе и на широком балконе двухэтажного дома Пидо толпился народ. Здесь были товарищи, подруги, родственники Мананы, соседи, гости из окрестных сел. Собирались группами, беседовали о том, о сем, спорили, смеялись. Ждали прибытия жениха.

И вдруг в людской гомон врезались звонкие мальчишеские голоса:

— Махаробели! Махаробели!

Молодой стройный парень, затянутый в новую с иголочки черкеску, с красной лентой на рукаве, вбежал во двор, вихрем взлетел по лестнице на балкон и, громко приветствуя всех, смело вошел в комнату.

Это и был махаробели — вестник радости.

По старинному обычаю пожилая почтенная женщина поднесла ему чашу с вином. Тот благословил стены дома, в который вошел, и залпом осушил чашу. Потом с размаху бросил ее об пол. Чаша разлетелась на мелкие кусочки. Так же стремительно, как вошел, махаробели покинул комнату.

Вскоре послышался заливистый собачий лай, потом веселые звуки зурны и песня.

— Едут, едут! — завопили мальчишки, усеявшие всю улицу. В гомоне и шуме протяжно и по-особому празднично сигналили автомашины.

Тем временем мать Мананы, Саломэ, взволнованная, счастливая и немного грустная, стояла на балконе и беспокойно глядела то на золотистые огни домов, то на машины,

проносящиеся по главной улице села.

— Саломэ! — слышался в это время из комнаты голос мужа.

Саломэ поспешила в дом.

Она вошла в комнату легкой стремительной походкой. Одна старуха со сморщенным, как изюм, лицом, глядя на нее, засмеялась и прошамкала:

— Пошмотрите-ка на Шаломэ, бегаёт, как шемнадцатилетняя красавица!

Ее слова вызвали громкий смех присутствующих.

...Саломэ вновь стояла на балконе. И хоть шестьдесят лет с обычной силой давили на ее плечи, в сердце трепетала крыльями большая радость. Эта радость была — счастье дочери.

К дому Саломэ потъезжали машины, и каждая из них была вестником счастья, любви, радости. Ритмичные удары доли, пронзительные звуки зурны, резкие веселые гудки автомашин сливались в праздничный шум, по которому почти безошибочно всегда можно определить, что где-то поблизости — свадьба.

Несколько машин, непрерывно сигналив, уже въехали во двор. Прогремел выстрел.

Прибыл жених с шаферами и приглашенными из Гоми.

Среди них выделялся высокий плотный мужчина средних лет. Одет он был в белый шелковый костюм и синие брюки, заправленные в сапоги.

Это был председатель гомского колхоза Гигго Богвели.

Во дворе, под развесистой тутой, уже веселятся вовсю. Танцы, музыка, взрывы хохота.

В это время Балалишвили вместе с шаферами Мананы, которых он сам выбрал, приблизился к дому невесты. Все они были нарядные, подтянутые — один краше другого. Но особенно хорош был тракторист Гигла, рослый, широкоплечий юноша. Красивое лицо с живыми

черными глазами, характерный нос с горбинкой.

В работе он не знал себе равных во всем районе, а за столом — никто не умел лучше него петь, красиво и складно произносить тосты. Ни одно празднество не обходилось без Гиглы. Он был вечным дружкой на всех свадьбах.

Когда Гигла, широко раскинув руки, выходил плясать, все взоры устремлялись на него: девушки с восхищением, а парни — с завистью следили за каждым его движением.

А каким замечательным борцом был Гигла! Сколько раз он, одетый в чоху¹, вызывал односельчан:

— А ну, кто из вас самый смелый, выходи, померимся силой.

И если никто не откликался на его вызов, Гигла с досадой скидывал чоху и покидал поле. Балалишвили считал Гиглу своей правой рукой и всюду таскал его за собой.

— Ребята, — говорил по дороге председатель, — теперь уж вам и карты в руки, проучите Богвели, а потом что хотите просите — все исполню!

— Все это так, но если девушка не понравится или мы не придемся ей по вкусу? — отозвался шутник Тато, колхозный шофер, хитро покосившись на Балалишвили.

— Разве от тебя услышишь что-нибудь путное! — сердито пробурчал председатель.

— Э-э, Богвели такой хитрый черт, что хорошую девушку из села не отпустит. А если какую-нибудь лентяйку увезем, так он еще в ноги нам поклонится!

— Дочка его хороша, да попробуй, подступись к ней! Гордячка, ни на кого не смотрит.

Гардатенцы много хорошего слышали о дочери Богвели. Гигле она очень нравилась. Он видел ее

¹ Чоха — в данном случае куртка, одеваемая во время грузинской борьбы.

несколько раз в Гоми. В прошлом году на свадьбе Маквалы Барнабшвили он мог с ней познакомиться, да угораздило его с ребятами выпить — на девушек он и не взглянул. На следующий день, когда гости разъезжались, Маквала ему шепнула: «Вчера ты даже не заметил, что дочь Богвели с тебя глаз не сводила». У Гиглы даже сердце заняло — да прошедшего не вернешь.

За разговорами не заметили, как очутились у дома Мананы. Дружки уже входили было во двор, когда, запыхавшись, нагнал их высокий парень в синем костюме. Волосы его, расчесанные на косой пробор, были тщательно приглажены и блестя.

Это был счетовод колхоза — Зура, известный на селе под прозвищем «Чистюли».

Зура был довольно ленивым парнем. Обыкновенную крестьянскую работу он терпеть не мог. Набрать десять трудодней в месяц было для него невероятным, непосильным делом. Долго и тщетно бился с ним Балалишвили, наконец решил: в поле Зура все равно не работник, дай-ка я ему такое место подыщу, чтобы и он был доволен, да и колхозу была бы польза. Вскоре отправили Зуру в Тбилиси на курсы счетоводов.

Зура легко усвоил все премудрости счетоводства и вот уже второй год работает в колхозной конторе.

Он был очень самолюбив, любил одеваться. Ходил всегда в костюме, сшитом по последней моде. Однажды кто-то из пожилых женщин сказал о нем: «Какой чистенький парень!» От этого «чистенького» в конце концов получилось — «Чистюля». Так за ним и осталось это прозвище.

— Дядя Тэдо, — взволнованно заговорил Зура, останавливая Балалишвили, — что я, хуже остальных? Почему ты меня не взял шафером?

— Ничуть не хуже, Зура, но что поделаешь, ведь не могу я всех шаферами сделать.

— Да одним человеком больше или меньше — какое имеет значение, пойду и я с вами, а? — Зура произнес это таким умоляющим голосом, что Тэдо не смог отказать.

Посреди двора в кругу танцевала пара; девушка плавно, словно по воздуху, скользила по земле, и ни на шаг не отставая от нее, коршуном вился парень.

Под туютой, там, где сидели музыканты, Балалишвили заметил Богвели. Его окружали молодые парни, дружки жениха. Богвели с довольной улыбкой взирал на танец гомского парня и гардатенской девушки.

— Глянь, уже третью невесту намечает, — не выдержал Балалишвили.

Ребята переглянулись, рассмеялись. Шутник Тато подлил масла в огонь:

— Дядя Тэдо, — невинным голосом заговорил он, подмигивая товарищам, — ты только взгляни на этого гомского и на нашу Циалу, ишь, как отплясывают:

— Да не я, а ты должен смотреть! Разинул рот, словно разварившийся хинкали! — прикрикнул на него Балалишвили. И добавил: — Что ж, давайте договоримся с Богвели: всех наших девушек-передовиков за его ребят замуж выдадим, в Гоми!

Богвели, едва завидев Балалишвили с шаферами, замахал рукой, заулыбался и, поднявшись со стула, пророкотал своим могучим басом:

— Привет, Тэдо, здоровья и счастья!

— Здравствуй, здравствуй! — отозвался Балалишвили, приветствуя гостей.

Пожимая ему руку, Богвели хитро подмигнул и кивнул в сторону танцующих:

— Славная пара, а? Грех их раз-

¹ Хинкали — род пельменей.

лучать! — и, не дожидаясь ответа, захохотал.

— Теперь вы не скажете, что гардатенские девушки не хороши. Только не завидую вашим красавицам, — останутся они в старых девах, бедняжки... — поддел его в свою очередь Балалишвили.

Вокруг смеялись. Девушки краснели, смущенно прикрывали рты руками.

Вскоре гостей пригласили к столу.

В большой, ярко освещенной комнате были накрыты праздничные столы. Белые лаваш и шотис-пури, ярко-красная редиска, кудрявая зелень, высокие глиняные кувшины с вином — все было готово к приходу гостей.

Девушки-стряпухи суетились вокруг, что-то добавляя, что-то переставляя в последнюю минуту и, гордясь делом рук своих, удовлетворенно оглядывали нарядный, тесно уставленный яствами стол.

Гости стали рассаживаться. По одну сторону жениха и невесты разместились гомцы, по другую — гардатенцы. Богвели и Балалишвили сидели друг против друга.

Наступила тишина. Тамада поднял одновременно две чаши и провозгласил здравицу в честь жениха и невесты.

Сначала тихо, несмело зазвучала песня — кто-то затянул «Мравалжамьер». Постепенно все подхватили ее, и старинная мелодия разлилась широкой волной.

Веселилась вся семья Пидо, счастливо улыбаясь друг другу жених и невеста. Веселилось все село Гардатени. И только один Кола не разделял общего веселья. Он стоял на балконе своего дома и мрачно глядел в ту сторону, откуда ветерок доносил веселые напевы свадебных песен, звуки доли, зурны и дудуки...

Тосты сменялись тостами, песни — песнями. Кувшины опорожнялись и вновь наполнялись. Уже и молодежь устала плясать.

Гости начали подниматься, разбрелись по комнатам, вышли на балкон, во двор. Зурна заиграла «Прощальную».

Вскоре свадебный кортеж двинулся по гомской дороге. В ночной тишине, над полями и виноградниками,плыли песни под аккомпанемент зурны и доли.

Вот наконец показалось утопающее в садах село Гоми. Сквозь листву деревьев светлячками мерцали приветливые огни. У калиток стояли люди — поглядеть на невесту, приветствовать новобрачных.

Балалишвилевскую «Победу» вел Тато. Рядом с ним сидел председатель, третьим примостился Гигла. Позади, тесно прижавшись друг к другу, сидели остальные шаферы. «Чистюля», втиснувшись между двумя здоровенными парнями, то и дело беспокойно оглядывал свой костюм и стряхивал какие-то, видимые только ему, пылинки.

Вскоре показался ярко освещенный двухэтажный дом жениха, с голубым балконом и широким двором. Жених, невеста, дружки — все вышли из машин и медленно, торжественно направились к дому.

Загрохотал доли, и полилась мелодия картули¹. Тут уж Гигла показал себя. Вихрем понесся он в быстром танце, едва касаясь ногами земли.

Гигла плясал и нет-нет оглядывал девушек — выбирал себе пару.

Его взгляд на какой-то миг встретился с лукавым взглядом черных глаз. Девушка была в платье цвета спелого кизила. И стояла почему-то в окружении молодых женщин, выделяясь среди них, как цветок персика в массе полевых цветов. Оживленное милостивое лицо. Черные, как ежевика, глаза. Открытый высокий лоб.

Обойдя еще раз круг, Гигла приблизился к девушке и стал приглашать ее на танец.

Музыканты заиграли еще яростнее.

¹ К а р т у л и — грузинский танец.

Девушка от смущения залилась краской, отступила было назад. Потом, робко взглянув на Гиглу, улыбнулась и, вскинув руки, плавно и легко вышла в круг.

— Смотри-ка, — приглушенно вскрикнул Тато, подталкивая локтем Балалишвили, — какую девушку выискал наш Гигла, настоящая лань!

Девушка уже огибала круг: она не шла, а скользила по земле.

Чуть отвернув от партнера лицо, она, полуприкрыв глаза, глядела в сторону, словно избегая его взгляда.

Зурна пронзительно заливалась на высоких нотах. Медоле¹, не щадя рук, отчаянно выбивал дробь.

— Вот эти двое, действительно, друг для друга созданы! — воскликнул вдруг кто-то.

Танцующие услышали это. И кем-то невзначай брошенная фраза смутила обоих.

Девушка прошла еще один круг и стала отходить в сторону, заканчивая танец. Наконец она остановилась и подняла на Гиглу теплые, глубокие глаза. И чуть затуманенный взгляд ее глаз — устала она, что ли, — проник в сердце Гиглы.

Умолкла зурна, затих ритмичный стук доли. Народ повалил к накрытым столам. Гигла беспокойно искал стройную девушку в платье кизилового цвета.

И вдруг на балконе, в окружении молодых женщин (почему она все время с замужними женщинами, а не с девушками!), он увидел ее, увидел эти глаза-ежевики — они смотрели на него в упор.

— Напрасно, брат, стараешься, — услышал он знакомый голос. Это был Тато. — К твоему сведению: дочь Богвели, с которой ты так лихо отплясывал, обручена.

— Не может быть?! — воскликнул Гигла таким голосом, словно рушился мир. — Ты точно знаешь, что она обручена?

— Точно знаю! Когда ты с ней

¹ Медоле — барабанщик.

танцевал, я спросил у гомских женщин.

— Эх... — Гигла глубоко вздохнул. Но все же не поверил товарищу.

— Матушка, — обратился он к оказавшейся около него пожилой женщине, — ты здешняя?

— Здешняя, сынок! — ответила та и, вглядываясь в него, спросила: — А ты чей, парень?

— Симон мой отец — сын Гиглы. Знаешь его?

— Еще бы не знать! — радостно улыбнулась женщина. — Как поживают твои старики?

— Хорошо, спасибо! А что, матушка, дочь Богвели — невеста?

— Уж не приглянулась ли она тебе? — хитро улыбнувшись, ответила женщина.

— Нет, не мне, а вот... ему нравится, — смешавшись, проговорил Гигла и указал на Тато.

— Ему — не знаю, а тебе бы она подстать была! Но завтра вечером в доме Богвели — обручение.

— А кто он? — помрачнев, спросил Гигла.

— Сын работника райкома. Сказать правду, Богвели просто любит среди больших людей крутиться, а то парень не так уж больно хорош. Я-то его не видела, но люди говорят... Хоть он и в Тбилиси живет, и высшее образование имеет, и еще учится...

Женщина вдруг замолчала и опасливо огляделась. Но никто не обращал на них внимания.

— А девушке нравится жених? — продолжал Гигла.

— Да в том-то и все дело: не нравится. И плакала бедняжка, и просила не неволить ее, да ничего не попишешь: Богвели ведь упрям, как бык, что сказал, тому и быть.

Женщина хотела еще что-то добавить, но в это время гостей пригласили в дом.

На балконе, в окружении гомских девушек стоял Зура, оживленно рассказывая им что-то. Рядом с ним стояла голубоглазая светлого-

лосая девушка, которая то и дело смеялась и краснела.

— Гляди, парень не теряется! — усмехнулся Тато. Кажись, Балалишвили не прогадал, взяв его в дружки! — И Тато так громко расхохотался, что Зура, услышав, обернулся.

Он исподлобья взглянул на Тато, потом подмигнул ему, словно желая сказать: что, плохой я дружка, а?

Гости рассаживались. Во главе стола сели жених и невеста.

В центре сидел тамада. По обе стороны от него — Богвели и Балалишвили. Гардатенцы и гомцы сидели вперемешку и оживленно беседовали.

Тихий гул, какой обычно бывает в комнате, где собирается много людей, ожидающих чего-то, покрыл привычный бас тамады:

— Товарищи, прошу внимания и тишины!

Сразу стало тихо, все смолкли.

После первых же тостов пир пошел горой. Гигла тщетно искал дочь Богвели — ее не было за столом. «Вероятно, завозилась где-то и сейчас войдет», — подумал он и уставился на дверь. Но время шло, а она не появлялась.

Наконец Гигла не выдержал ожидания. Вино придало ему смелости, и он в упор спросил кого-то из гомских ребят:

— Где дочь Богвели, почему ее нет за свадебным столом?

Один из гомцев, широкоплечий, высокий парень, ответил ему вопросом на вопрос:

— Это ты спрашиваешь о дочери Богвели, братец?

— Да, я спрашиваю! — с улыбкой подтвердил Гигла, не заметив, как изменился в лице гомец.

— А тебе-то что за дело?

— Просто интересно, — ответил Гигла.

В глазах гомца появилась угроза.

— Нет, все же, почему тебе это интересно? — настойчиво повторил он, пристально глядя на Гиглу.

— Что ты сверлишь меня глазами, брат, кажется, я тебе ничего не должен, — задиристо ответил Гигла. И прикусил губу. Уж не сын ли это Богвели, Дато, прославленный боец?

Как бы в подтверждение этой догадки Тато сильно придавил ему ногу.

— Значит, не говоришь, почему тебя интересует дочка Богвели? — не отставал парень. Явно, он был на веселе и так и нарывался на ссору.

— Да просто так спросил, что ж тут дурного?

— Осторожней, брат, — пригрозил сын Богвели, глядя на него пылающими глазами, — знай, что ты имеешь дело с гомцами!

— Ладно, брат мой, — не сморгнув, отвечал Гигла, — и мы в долгу не останемся, если ты гомец, то я гардатенец!

Гордый и самолюбимый Дато побагровел, вскочил со стула. Все, кто слышали этот разговор, настороженно смотрели теперь на них, ожидая драки.

Богвели почувал неладное. Нахмурившись, встал, подошел к сыну и, схватив его за локоть своей огромной рукой, вывел на балкон. Балалишвили угрожающе взглянул на Гиглу.

Вскоре отец и сын заняли свои места. Лицо Дато было уже спокойным.

Пир продолжался. «Мравалжамиер» сменялось «Супрули»¹ и «Супрули» — «Мравалжамиер», а Гигла все так же безуспешно искал глазами дочь Богвели.

Появилась она, когда все упрашивали Гиглу спеть под аккомпанемент пандури². Но Гигле на этот раз было не до песен, и он упорно отказывался.

Увидев Натэлу, Гигла встрепенулся, глаза его заискрились. Он взял

¹ «Мравалжамиер», «Супрули» — застольные песни.

² Пандури — грузинский музыкальный инструмент.

ся за пандури, ударил по струнам, запел.

Натэла слушала певца и, не отрываясь, глядела на руки, перебирающие струны пандури. Песня волновала ее, какое-то глухое беспокойство, которое она испытала, впервые увидев Гиглу еще в прошлом году, сейчас с большей силой охватило ее.

Она очнулась, когда довольные слушатели громом аплодисментов выразили свой восторг. Гигла встал, низко поклонился.

Веселье было в разгаре, вино лилось рекой, песни не смолкали, один за другим провозглашались тосты. Медленно уходила ночь. Уже несколько раз кричали петухи. Синеватый рассвет забрезжил в окнах. Из соседней деревни доносился гудок лесопилки.

Наступил полдень. Солнце было горячее, как в летний день. Пир продолжался, но Богвели уже не сидел за столом. Он поспешил домой, чтобы подготовиться к вечеру — сегодня должно было состояться обручение дочери. Дато же крутился по деревне, собирая музыкантов для грузинской борьбы. Товарищи его продолжали пить с гардатенцами, стараясь спить Гиглу, чтобы победить его в предстоящем состязании.

Гигла не догадывался о подвохе. Но какой-то старик, родом из Гардатени, шепнул землякам:

— Ребята, будьте настороже. Гомцы что-то замышляют против вас. Эх, когда я был здесь женихом, они мне такое устроили, что я и по сей день не могу этого забыть.

У Гиглы дрогнули в улыбке губы. Он подмигнул ребятам, чтобы поменьше пили, и сам почти перестал пить.

Через некоторое время слышались звуки «Сачидао» — мелодии, сопровождающей грузинскую борьбу.

Гомцы переглянулись. Потом один из них, друг Дато, как бы невзначай, спросил Гиглу:

— Может, пройдемся, посмотрим на борьбу?

— Что ж, пошли! — отозвался Гигла, поднимаясь с места. «Кажется, старик был прав. Все это — проделки Дато», — подумал он и сделал знак ребятам, чтобы шли за ним.

Но в это время властно прозвучал голос тамады:

— Никуда не разрешу их увести! — обратился он к гомцам. — Они пришли сюда на свадьбу и должны веселиться!

— А разве им кто-нибудь мешает? — дивились гомцы. — Но нельзя же все время вино пить. Сейчас хорошо немного поразмяться, глотнуть свежего воздуха, а потом — снова за стол!

— Знаю, знаю, что за червь вас точит, думаете, не догадался! Веселиться так веселиться! А если драться хотите — так эта дорожка проходит другой стороной.

— Уважаемый тамада! — просительным тоном начал Гигла, — не обижай этих ребят.

Манана усмехнулась. Она-то знала, что Гигла любого на обе лопатки положит. И тоже попросила тамаду отпустить их.

— Ладно уж, идите, но... смотрите, не наделайте глупостей.

Балалишвили тоже пошел посмотреть на борьбу. «Богвели наверняка там будет», — подумал он.

Старик, давеча предупреждавший Гиглу не пить много, тоже последовал за ними.

* * *

Спортивная площадка, где происходила борьба, находилась в центре села. Здесь каждое воскресенье устраивались состязания. Собиралась сельская молодежь, чтобы испытать свою силу и ловкость. С Триалетских гор по воскресеньям не

редко спускались осетины. Ожесточенно боролись с гомцами, жителями долины. После борьбы проигравшие приглашали победителей обедать в столовую. Выпив по стаканчику терпкого вина, осетины с песнями поднимались по извилистым тропинкам к себе в горы.

Когда гардатенские дружки подошли к площадке, борьба была в разгаре. Зрителей собралось много. Пожилые мужчины стояли по одну сторону, с интересом наблюдая за ходом состязания. Вспоминали молодость и, как водится, восхваляли до небес борцов минувших дней.

На другой стороне сгрудилась молодежь. Разноцветные платья девушек пестрели, как полевые цветы. Девушки смеялись, перекидываясь шутками с ребятами.

Мальчишки, словно воробьи, усеяли ветви огромного орехового дерева. Крона его зонтом нависла над площадкой. Под орехом стоял покрытый красным кумачом стол. За столом важно восседал Дато. Рядом с ним сидел светлолицый белобрый парень, невысокий, коренастый. Это был первый, после Дато, палаван¹ Андриа, которого в селе прозвали «Ухом», потому что правое ухо у него было расплющено во время борьбы.

— Парень — сущий огонь, — говорили о нем в Гоми. — Как хочешь швырни его, все равно на ноги подымет. Как кошка — на спину не упадет.

Сейчас Андриа, облаченный в борцовскую чоху, готовился выйти в круг.

Дато встал, подошел к Гигле и сказал ему:

— Или ты должен бороться с Андрием, или кто-нибудь из ваших ребят. Сам решай. — Небрежно бросил ему чоху и, не дожидаясь ответа, вернулся к столу под орехом.

Гигла проводил его пристальным

¹Палаван — борец, неоднократный победитель состязаний борцов.

взглядом. Потом оглядел ребят и кивнул Тато:

— Ты должен бороться первым, Тато.

Тато согласился, но потом задумался.

— А вдруг он меня одолеет, как я потом Балалишвили в глаза смотреть буду? Пусть сначала кто-нибудь другой выходит, а я посмотрю, каков этот Андриа, что у него за приемы.

— Ну сам скажи, кого вывести? Видишь, какой он крепкий парень.

— Пусть Чистюля попробует!

— Куда там! Да он и не согласится! Не знаешь разве, какой Чистюля спесивый!

— Согласится, вот увидишь!

Тато огляделся по сторонам. И тут же увидел Зуру. Зура стоял все с той же голубоглазой девушкой. Тато кинулся к нему.

— Зура, если ты хочешь заслужить благодарность Балалишвили, выручай нас. Вон видишь того белобрый, что чоху поправляет, ну вот там, под орехом? Ты должен его побороть. Не бойся, он не так уж силен.

Зура только покосился на Тато. Хотел было ответить: «Ну, какой из меня борец, смеешься, что ли, надо мной», — но смолчал, постеснялся девушки.

— Сам знаешь, если ты его не уложишь на обе лопатки, хоть не возвращайся тогда в Гардатени, — подзадорил его Тато.

Чистюля, осмелевший от такого предложения, принял слова Тато за чистую монету. «Видно, этот Андриа действительно, неважный борец», — подумал он. С самодовольной усмешкой он сказал Тато:

— Не то что его, пусть гомцы хоть самого лучшего борца против меня выводят.

«Ого! — подумал Тато. — Он не шутит. Видать, вправду вино смелость придает, ведь в другое время он бы ни за какие блага не согласился».

Но у Зуры все же екнуло сердце. Он тайком взглянул в сторону ста-

рого ореха, где невозмутимо сидел Андриа. Зуре бросились в глаза его мощные бицепсы, и он чуть было не отказался выйти на арену. Только боязнь показаться девушке трусом удержала его. «Э, будь что будет. Если я его не уложу, то и он меня не одолеет», — заключил он и, извинившись перед девушкой, подхватил Тато под руку и бодрым шагом направился вместе с ним к Гигле.

Зура медленно раздевался. Снял пиджак, сорочку, аккуратно сложил их.

— Нет, вы только посмотрите на этого неженку! От сидения в конторе он побелел, как мацони!¹ — воскликнул Тато.

Ребята расхохотались. Зура с улыбкой взглянул на товарищей, потом — на ту девушку, что стояла теперь одна. Он заметил, что взоры всех окружающих устремлены на него. Это еще больше его воодушевило. Одев чоху, он смело вошел в круг.

— Милые мои! — воскликнул кто-то из стариков. — Да неужто не жалко выставлять такого молодца против этого свиного рыла? Посмотрите, какой у него тонкий стан, что твой тростник.

— И вправду, статный парень! — Зрители заволновались.

Вдруг по толпе громом прокатилась волна аплодисментов. Это в круг вошел Андриа. Стал напротив Зуры. Невысокий, коренастый. Чоха была ему великовата.

Судья объявил:

— Борются: Мествиришвили — Гардатени и Будагашвили — Гоми! Эй, музыку!

Музыканты заиграли «Сачидао»...

Оба противника стремительно двинулись навстречу друг другу. Пожали руки, как полагается, потом разошлись и, пригнувшись, стали обходить друг друга.

Андриа медленно, опустив голову, как бык, приближался к Чистюле. Внезапно он схватил его за пояс, рывком перекинул за спину, и Зура очутился на земле.

Все это произошло с такой молниеносной быстротой и так неожиданно, что зрители едва успели проследить. Загремели аплодисменты. Мальчишки, повисшие на ветвях старого ореха, заулюлюкали, засвистели.

Лица Чистюли не видать — так он вымазался в опилках, посыпанных на площадке.

Публика шумно выражала одобрение победителю и смеялась над побежденным.

— Да уберите отсюда этого щенка! — кричал тот же старик, который незадолго до этого восхищался внешностью Чистюли.

Эта фраза долетела и до слуха Зуры. Пристыженный вконец, он мечтал, чтобы земля расступилась и поглотила его. Да еще эта девушка! Как посмотрит он ей в глаза?

Он украдкой огляделся и увидел ту, голубоглазую. Она тоже смеялась вместе со всеми. Это было невыносимо. «Будь я проклят, — ругал себя Зура. — Не рыпался бы попусту, лучше было бы. А все Тато виноват,» — подумал он и добавил пару нелестных комплиментов в адрес приятеля.

Подойдя к товарищам, Зура взглянул на них с безмолвным укором. Вырвав у Тато из рук свою одежду, не произнеся ни слова, он удалился.

А Андриа, гордо расхаживал по кругу, и с ним надо было бороться. Он и не думал снимать чоху: «Я ведь только размялся, выходи, кто там есть», — выкрикивал он и с самодовольной улыбкой поглядывал на гардатенцев.

Тато приготовился, одел чоху. Он очень волновался, боясь опозориться так же, как и Чистюля. Раздумывая, что делать, он вдруг решил — назовусь-ка я чужим именем — из другого села. Тогда

¹Мацони — кислое молоко, род простокваши.

хоть свою деревню не опозорю. Пожалуй, из Ахалшени здесь никого не будет».

Судья проверил у него пояс, поправил чоху и спросил фамилию.

— Не думай, что я гардатенец. Я из Ахалшени, из дома Патаркалишвили.

Судья объявил.

На беду Тато, в толпе оказались и ахалшенцы. Едва взглянув на мнимого земляка, они удивленно переглянулись и решили — он не наш. Хотели было кричать, протестовать, но тут новоявленный земляк уложил гомца на бок.

«Крепкий парень», — решили ахалшенцы. И уже с сочувствием стали следить за ходом боя. «Однако, откуда же он», — недоумевали они.

Ухо вторично бросился на противника. Схватил его за ворот. Тряхнул. Ошеломил неожиданным падением, потом внезапно подставил подножку, и Тато лавашом распластался на земле.

Восторженные крики сотрясли воздух. Зрители напирали друг на друга, вытягивали шеи, чтобы лучше разглядеть происшедшее.

— Послушай, да какой же это ахалшенец? — снова заволновались ахалшенцы.

— Да ну, ясно, не наш, чего там!

— На второй минуте победил гомский борец! — возвестил судья.

— Не наш он, нет!

— Он не ахалшенец!

— Гардатенский!

— Он нарочно выдал себя за ахалшенца, знал, что проиграет!

Теперь уже у ахалшенцев не было оснований поддерживать «земляка». Разоблаченный обман вызвал не только смех, но и возмущение зрителей. Тато понял, что своим поступком опозорил и себя, и товарищей, и Балалишвили, и все Гардатеи. Негодуя сам на себя, он сорвал чоху, швырнул ее на землю и, словно нехотя, медленно пошел одеваться.

Балалишвили, стоя рядом со своим другом-недругом Богвели, сго-

рал от стыда и нервно затягивался выкуренной уже до края папирсой. Огонек обжигал ему губы, но он этого не замечал и только переминался с ноги на ногу, словно земля под ним была утыкана иголками.

— А ну, кто там из гардатенцев, выходи сюда! — вызывающе кричал воодушевленный своей победой Андриа.

— Я — гардатенец! — услышался чей-то спокойный, уверенный голос.

Это был Гигла. Он быстро разделся, швырнул товарищам свою одежду и не вышел — птицей вылетел в круг. Резким движением поднял с земли брошенную Тато чоху, встряхнул ее, перекинул за спину и остановился перед зрителями.

Его мужественная осанка, сверкающие черные глаза располагали зрителей и разожгли любопытство — а сейчас кто кого?

Гигла неподвижно стоял в кругу, ожидая схватки с противником. Зрители не могли отвести глаз от его сильной, красивой фигуры.

Андриа стоял на противоположной стороне круга и, сказать правду, был немного обеспокоен спокойствием противника.

Загрохотал доли. Пронзительно запела зурна. Публика притихла в ожидании интересного зрелища.

Внезапно Гигла схватил Андриа за ворот, притянул к себе, как магнит — железную стружку, скрутил, поднял в воздух, и в мгновение ока гомский палаван лежал плашмя на земле.

— Благословенна грудь, тебя вскормившая! — восхищенно воскликнул кто-то.

Андриа вскочил на ноги. Отбежал в сторону. Потом кинулся прямо на Гиглу, но тот поддел его ногой, и Андриа снова очутился на усыпанной опилками земле. И вдруг стремительно вскочил на ноги и неожиданно швырнул опилки Гигле в глаза.

Возмущенная его поступком толпа взревела. Богвели кинулся было в круг, чтобы вывести обезумевшего

борца, одернуть его. Но оказалось, Гигла успел зажмурить глаза. Одной рукой, как железным обручем, обхватил он противника за пояс, другой отер с потного лица опилки, потом обеими руками ухватил его за пояс и поднял в воздух. Продержав Андриа над головой некоторое время, швырнул его на землю.

Поднялся невероятный шум. Мальчишки надрывались от свиста и крика.

— Вот это парень! Это мужчина! Показали мы вам, где раки зимуют! — кричал какой-то старик. Это оказался тот самый гардатенец, что с молодости затаил зло на гомцев за какую-то проделку.

— Эй, гомцы! — громко воскликнул Гигла. — Знай я, что ваш палаван такой трус, я бы и рук не марал. Неужели нет у вас настоящего борца?

Не успел он закончить фразы, как в круг вбежал Дато. Сидящие на земле молодые парни поднялись на ноги, подались назад. Круг расширился.

Сейчас должно было решиться, за кем останется победа — за гардатенцами или за гомцами. Оба противника стояли друг против друга, оба одного роста, оба стройные, сильные, красивые. Мерили друг друга взглядом. Ждали знака судьбы.

Снова зазвучала мелодия «Сачидао», судья объявил борющихся и подал знак. Дато, словно танцуя, подходил к Гигле. Схватил его за ворот, — хотел, видно, одним махом перебросить его за спину, да не тут-то было — Гигла и не шевельнулся. Зато рывка Дато не выдержала чох: она с треском разорвалась, и Дато, потеряв равновесие, упал на опилки.

Гигле дали другую чоху. Противники снова сошлись. Дато решил теперь применить другой прием. Выставив вперед левую ногу, чуть согнув ее в колене, он обхватил Гиглу поперек груди, однако Гигла ухватил его за пояс и поднял в воз-

дух. Дато дважды перевернулся и упал на спину.

Ничего подобного гомцы еще не видели — их непобедимый борец, первый палаван, Дато, лежал на желтых опилках... Его жалели, ему сочувствовали — но им не восхищались. Восхищались другим — чужим, пришлым, но победителем. И все взоры, все симпатии обратились к тому, кто оказался сильнее.

* * *

Борьба закончилась. Участники и зрители — все вновь вернулись к столу. Вновь полилось вино, поплыли песни над садами и опустевшими деревенскими улицами.

Но за веселым столом не было Зуры. Он потихоньку уехал в Гардатени.

Гигла был не в духе. Победа совершенно не радовала парня. Он все думал о дочери Богвели. Веселый говор, пение пирующих тяготили Гиглу. Хотелось посидеть где-то одному, в тишине. Улучив момент, он встал и вышел на балкон.

Солнце прощалось с горами и долинами. На горизонте белели кудрявые облачка. Легкий ветерок с Триалетских гор чуть трепетал в листве. Гигла спустился по лестнице во двор. В окне нижнего этажа заметил две женские фигуры: Натэлу и Манану. Парень от неожиданности растерялся, остановился в нерешительности. Потом направился в дом.

— Манана, милая, дай мне воды! Столько вина выпил, умираю от жажды! — войдя в комнату, обратился он к Манане.

Манана поискала взглядом стакан.

— Сию минуту, Гигла, сверху принесу, а то здесь стакана нет, — сказала она и вышла.

— Разве можно воду после вина пить? — краснея, спросила Натэла.

Впервые она заговорила с Гиглой. От счастья сердце у него словно выпорхнуло из груди и улетело куда-то ввысь.

— Не воды, а любви твоей хочу, девушка. Прости, что так прямо говорю тебе об этом... Но если ты согласишься пойти за меня, сегодня же объявим о нашей свадьбе! — одним духом выговорил Гигла, глядя ей прямо в глаза.

Натэла оробела от его слов. Румянцем заалели ее щеки, она не могла произнести ни звука. Потупилась, не смея поднять глаз на Гиглу.

Ее молчание придало Гигле смелости.

— Ты боишься отца? Не бойся. Конечно, сначала он рассердится. Неловко ему будет перед родителями парня, которого он прочил тебе в женихи. Но со временем он успокоится, примирится...

Натэла, вся дрожа, слушала Гиглу. Мысли заметались в ее голове. Что ей было делать? Как поступить? Ведь она опозорит свою семью, нарушит отцовское слово...

Гигла понял ее состояние.

— Не будет в том позора, если ты пойдешь за того, кого сердце избрало. Но позор в том, что ты следуешь старому, отжившему обычаю. Это — ошибка твоего отца, и он, конечно, поймет это. Скажи скорее, пойдешь за меня или нет...

В это время на балконе слышались шаги.

— Ответь же!.. — взмолился Гигла.

Шаги приближались. Наконец Натэла подняла голову и едва слышно проговорила:

— Как солнце зайдет, жди меня за околицей. Я твоя и всю жизнь буду только твоей.

— Любимая моя! — Гигла нежно обнял ее за плечи, привлек к себе. И только наклонился поцеловать, как вдруг распахнулась дверь, и в комнату вошла свекровь Мананы.

— Ой, лучше мне умереть! — растерянно воскликнула она, потом повернулась и хотела выйти, но Гигла остановил ее:

— Матушка, — сказал он, — не бери греха на душу, не думай о нас

плохо. И пока никому не говори о том, что видела. Ты оставайся здесь, Натэла, а я пойду! — и счастливый Гигла выбежал из комнаты.

По лестнице спускалась Манана со стаканом в руках.

— Гигла, куда же ты, воды не хочешь?

— Спасибо, Манана, теперь я ничего не хочу, у меня все есть, понимаешь, все! — крикнул он на ходу и взбежал на балкон. Он так стремительно несся вперед, что едва не сбил с ног идущего ему навстречу Балалишвили.

— Что с тобой, Гигла, пьян ты, что ли? — воскликнул председатель.

— Дядя Тэдо, если бы вы только знали, как я счастлив! Я женюсь на Натэле Богвели!

— Полно врать, Натэла уже почти обручена.

— Гигла еще никогда не говорил неправды!

— Да ты пьян, парень, что ты несешь? Как это может быть?

— Э-э, дядя Тэдо, потом расскажу, сначала поздравь меня! — и Гигла сам бросился обнимать Балалишвили.

* * *

Солнце садилось. Горы на западе казались какими-то прозрачными, словно сотканными из тумана. Гости, расходясь, пели песни.

Все, что прошло, пусть навеки уходит,
Жизнь нам новое счастье несет.

Только с любимой буду я вместе.

Только с любимой вдвоем.

Тато сел за руль.

На прощанье Богвели осипшим голосом говорил Балалишвили:

— Ну, Тэдо, не забудь, что я тебе сказал! К будущей осени давай уж и ту, голубоглазую, готовь в невесты. Ха-ха-ха-ха!..

— Не знаю, как будущей осенью, а вот сегодня вечером у нас в Гардатени свадьба — Гигла женится! Прошу пожаловать! — отозвался Балалишвили.

— Спасибо, но мне сегодня не до свадьбы, у меня вечером праздник — обручение дочери.

— Ну и что ж, приезжай со своими гостями, как-нибудь лицом в грязь не ударим! — вступил в разговор Тато и хитро подмигнул Гигле.

Гигла нахмурился, сердито глянул на Тато: не сболтни, мол, лишнего!

— Спасибо, завтра мы его поздравим!

— Не опоздай, брат! — засмеялся Балалишвили. Машина тронулась.

— До свиданья, счастливого пути! — неслось вслед.

Когда подъехали к окраине села, между изгородями Гигла заметил

Натэлу. Она была не одна, с подружкой.

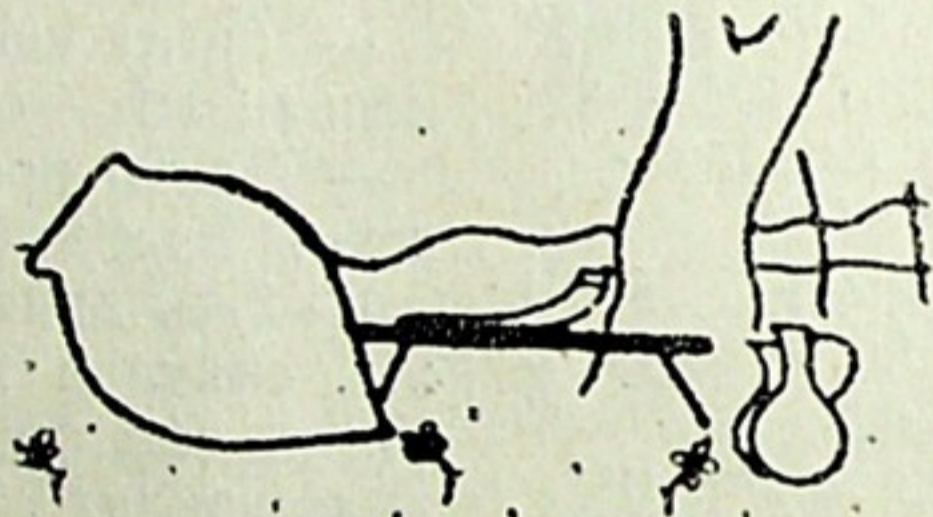
Тато резко затормозил машину перед девушками. Отворилась дверца. Натэла села рядом с Гиглой.

Балалишвили вытащил из кармана авторучку и клочок бумаги. «Товарищу Богвели, — написал он. — Вечером у нас в Гардатени свадьба Гиглы и твоей дочери Натэлы. Обязательно приезжай вместе со всеми гостями». Сложил листок вчетверо и передал записку девушке:

— К вечеру отдай это Богвели.

— Ну, а теперь гони вовсю! — скомандовал Балалишвили.

Машина рванулась, и вскоре под веселые звуки зурны и доли гардатенские шаферы въезжали в родное село.





Ия Месхи

Кровное, родное...

Передо мной маленькая, старая фотография, извлеченная из архивов жандармского управления: безусый подросток в арестантском колпаке. Хорошее, открытое лицо... Неужели он мог подкрасться тайком к спящему человеку и убить его?

Правда, человек был очень скверным. Это был зверь, жестокий зверь — кутаисский прокурор, беспощадно расправлявшийся с лучшими сынами революции 1905 года. Не станет его, и добрым людям будет легче жить на земле. Так казалось ученикам кутаисской гимназии, объединившимся в террористическую организацию и поставившим перед собой цель уничтожать по одному особо ретивых царских чиновников. Прокурор выпал на долю Миши Церетели. И он убил его. Убил неуклюже, неумело и главное — ни к чему. Где было знать ему, что совсем не так следует вести себя парню, который готов жизнь свою отдать за счастье народа?

Узнал он об этом позже в Херсонской каторжной тюрьме, у рабочих, матросов, интеллигентов, революционеров-большевиков, с которыми просидел несколько лет.

Здесь он постигал азы подлинной борьбы, вместе с другими объявлял протесты и голодовки. Это была его первая школа революции.

Я смотрю на другую фотографию: похороны расстрелянных полицией черемховских шахтеров. Стоят грубосколоченные самодельные гробы, вокруг которых столпились люди. В

первых рядах, опустив колено, склонив голову перед прахом товарищей, — Миша Церетели.

Черемхово!.. Далекая Восточная Сибирь, лютые морозы, незнакомые люди... Вот куда, за тридевять земель, с берегов Риони занесла его царская ссылка. Но Миша уже не гимназист, не маменькин сынок. Он вырос, возмужал, работает в шахте, сначала коногоном, потом крепильщиком, наконец, берет в руки обушок. Страшная, гиблая дыра Черемхово, и в этой дыре — страшные, гиблые шахты. Близится 1917 год. Забойщика Мишу рабочие Щелкуновской шахты выбирают председателем своего рабочего комитета. Видно, завоевал доверие и любовь в суровой шахтерской среде смелый парень из Грузии...

Черемховские шахты стали для него второй школой революции.

И вот третья фотография: всадники только что вышли из леса. Они замысловато и пестро одеты, нехитро вооружены. Впереди снежная равнина. Ее обзревает в большую подзорную трубу первый всадник — бородач в меховой дохе. Это Нестор Александрович Каландарашвили, сибирский «Дедушка», командир партизанского отряда, действовавшего в Восточной Сибири в годы гражданской войны. Шестой от него — молодцеватый партизан в белой папахе — Михаил Церетели, командир эскадрона. Отряд создан по решению Иркутского губкома партии и действует против колчаковских банд. Мо-

лодой коммунист Миша Церетели защищает Советскую власть с оружием в руках.

Эти и многие другие фотографии сохранились у Михаила Варденовича до сегодняшних дней. Сорок лет тому назад, как только донеслась до него весть о победе Советской власти в Грузии, он вернулся домой. Его знания, опыт, революционный жар нужны были родному краю. И правда, в первые по возвращении годы, его ставили на ответственные посты борьбы с бандитизмом, борьбы с врагами Советской Грузии. Так же, как и в далекой Сибири, не знал Михаил Варденович ни страха, ни колебаний в этой борьбе. А потом, как это случилось со многими, он оказался в тени, почти не у дел. Не избежал и репрессий в 1937 году.

Но еще раз доказал он преданность своей родине. Это было в годы Великой Отечественной войны. Михаилу Варденовичу пошел уже шестой десяток. Он отправился на фронт добровольцем, в коммунистический батальон, участвовал в кровопролитных боях под Синявино, был контужен...

Шли годы. В сердце ветерана неугасимым огнем горела память о славной боевой молодости. Сорок долгих лет и тысячи километров отделяли его от тех мест, где она прошла. Выйдя на пенсию, Михаил Варденович написал книгу о своем любимом партизанском командире и земляке Несторе Каландарашвили. Книгу издали в этом году. Это принесло большую радость и автору, и всем, кто знал этого необыкновенного человека.

Но еще очень хотелось увидеть теперешнюю Сибирь своими глазами, убедиться, что не даром была пролита кровь многих близких людей. Пришло время, когда Михаил Варденович смог осуществить и это свое желание. Мне, как спутнице его в этой поездке, довелось увидеть много волнующих встреч на сибирской земле. Расскажу о некоторых из них.

Мы только что вернулись в гостиницу из Иркутского областного Комитета партии, где нас принял первый секретарь обкома Семен Николаевич Щетинин.

— Бывший черемховский забойщик, говорите? — прервал Семен Николаевич поток воспоминаний Ми-

хайла Варденовича. — И я бывший шахтер, только донбасский. А вот теперь стал сибиряком...

О том, что Семен Николаевич в годы Отечественной войны был одним из руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Донбассе, он не сказал ничего. Но мы это знали из других уст. Близкая судьба коммунистов двух поколений роднила их, и очень быстро они нашли общий язык. Семен Николаевич рассказывал о делах иркутских, расспрашивал о Грузии, в которой так и не побывал, хотя очень близко от нее жил. Он распорядился закрепить за Михаилом Варденовичем обкомовскую машину, чтоб тот мог поехать всюду, куда только душа запросит.

— О Несторе Каландарашвили, — сказал он, — я, конечно, знаю по рассказам старых большевиков. Но и нынешние сибиряки чтут память о нем. Этот человек превратился в легенду, — продолжал Щетинин. — А вот дочери его — Нина и Русудана — вполне реальные люди. Обе их я хорошо знаю. Нина одно время работала в обкоме, потом переехала в новый город Свирск на большое энергетическое предприятие (она инженер-энергетик). Сейчас ее мужа назначили директором завода в Иркутске, и они снова переезжают. Но мы ее разыщем и направим к вам, в гостиницу. И попросим быть с вами, пока вы у нас гостите.

Кажется, ничего лучшего нельзя было пожелать.

И вот мы сидим в ожидании Нины Несторовны. Михаил Варденович волнуется перед этим свиданием. Дочь Нестора... Какая она? Он помнит ее совсем маленькой. Встретиться с дочкой Нестора, это значит, как бы прикоснуться к самому Нестору. А Нестор для него — святыня. Поэтому Михаил Варденович ходит из угла в угол. Шаг у него, несмотря на больные ноги, еще очень крепкий. Выправка такая, что может позавидовать юноша. И это в 70 лет, после стольких жизненных испытаний!

Наконец Нина входит: высокая, крепко сбитая женщина с хорошим, добрым лицом. Глаза, улыбка — отцовские. Церетели и Нина обнялись.

Не станем описывать встречи. Хотя была она сумбурной, Михаил Вар-

денович остался очень доволен ею и так все время поглядывал на меня, будто хотел сказать:

— Вот, видите, какая у нас дочь?

Позже мы слышали о Нине Несторовне Каландарашвили много хорошего от людей, с которыми она проработала на одном заводе 15 лет в качестве заместителя главного технолога. Мы увидели в городе Свирске чудесный парк для маленьких, который она создала на общественных началах, силами самих свирчан, не израсходовав на это ни одной государственной копейки. Как и ее отец, Нина Каландарашвили, видимо, обладает способностью оставлять о себе хорошую память.

Сидя в гостинице, мы наметили план действий, и Нина ушла от нас с книгой о своем отце и с большой корзиной доброго грузинского винограда для трех внучек «Дедушки».

* * *

Утро следующего дня застало нас на улице Коммунаров, в маленьком партизанском пантеоне. Здесь в нескольких братских могилах погребены участники восстания против колчаковщины в Иркутске в 1918—19 гг. На скалистой глыбе высится скульптурная группа из трех партизан. Средний в этой группе — высокий бородач — явно сделан по образу Нестора, но имя не названо. Ведь Нестор погиб позднее.

Вот его могила, рядом с могилой командира Братской партизанской дивизии — Бурлова, скончавшегося в 1927 году. Два одинаковыхobelиска. Читаем:

**Командир Красных партизан
Нестор Александрович Каландарашвили (1874—1922 гг.)**

На могиле живые, недавно политые цветы — анютины глазки.

Как останки Нестора Александровича оказались в Иркутске? Ведь, убили его далеко отсюда, на подступах к Якутску, в засаде, устроенной белобандитами. Оказалось, иркутские рабочие потребовали, чтоб «Дедушка» был доставлен к ним. Ведь он был их «дедом». И вот Нестора вместе с его комиссаром Михаилом Асатиани, тоже зарубленным беляками, повезли на теплоходе по Лене

и дальше на дрогах в Иркутск. В торжественно-траурном шествии как бы участвовала вся Восточная Сибирь.

О Несторе Каландарашвили много написано. Нет нужды все это повторять. Хочется, однако, пока мы еще не отошли от могилы, вспомнить об одном маленьком эпизоде, характеризующем взаимоотношения Нестора с его женой Христиной.

Христина Леонтьевна, по рассказам Михаила Варденовича, была очень красивой женщиной, так же, как и Нестор, уроженкой Гурии. Попала в Сибирь она со своим первым мужем, старым богатым купцом. Здесь встретила с Нестором. Он был в то время на нелегальном положении, бежал из Александровского Централы, скрывался. Они полюбили друг друга. Христина была ему не только женой. В партизанские годы она не раз выполняла ответственные поручения командира. Во время одной из таких разведок, когда Христина, переодевшись нищенкой, скиталась по сибирским селам с грудным ребенком на руках, он у нее заболел и скончался. Его звали Гоги.

А сколько раз она бедствовала? Как-то Нестор Александрович сидел в тюрьме. Наступил очередной день передач заключенным. В доме не было ни денег, ни съестных припасов, ни вещей, которые можно было продать. Христине трудно было идти на встречу с мужем с пустыми руками. Она подошла к тюрьме, побродила вокруг, борясь с желанием увидеть его («Но как? Если ничего не принести, он узнает, что мы голодаем»). Ночью она услышала условный стук в дверь, пришел тюремщик, связной Нестора. В дверной щели торчала записка от Нестора: «Принеси два бублика».

Два бублика?! Ну, конечно, на это Христина всегда раздобудет денег. Но что это значит? Он видел меня из окна? Он понял, почему я не могла прийти? Он хочет сделать вид, что ничего не понял?

— Вот какие они были люди... — задумчиво произносит Нина Несторовна.

В молчании стоит Михаил Варденович у могилы. Когда он уезжал из Сибири, его командир был в полном расцвете сил. Нестор побывал в Москве у Владимира Ильича. В 1921 го-

ду его за боевые заслуги наградили орденом Красного Знамени. С тех пор Михаил Варденович не встречался с ним. Это была их первая встреча после долгой разлуки. Чтоб не мешать ей, мы разглядываем с пантеона город, красавицу Ангару.

Не река — чародейка. Вода в ней такая чистая, как ни в одной реке. До сих пор не могут объяснить, чем вызвана такая необычная прозрачность этой реки. Вдоль Ангары тянется бульвар. На бульваре стоит Белый Дом. Так назывался он раньше. Так называется и сейчас. Он действительно белый и довольно красивый. Когда-то в нем была резиденция генерал-губернаторов. В 1917 году здесь помещался ЦИК Советов Сибири (Центросибирь) и Штаб Красной Гвардии.

Михаилу Варденовичу не терпится скорее на него посмотреть. Как же! Здесь он получил свое первое боевое крещение. В декабрьские дни 1917 года вспыхнул вооруженный мятеж белогвардейцев. Юнкера окружили Белый Дом, в котором находились в то время Постышев, другие руководители и 153 красноармейца. Восемь дней держались осажденные без пищи и воды. К иркутским рабочим пришли на помощь черемховские шахтеры. Белогвардейцы были выбиты отовсюду. Михаил Церетели участвовал в снятии осады Белого Дома.

Спустя год в этом доме открылся Иркутский университет. А сейчас? (Михаил вглядывается в надпись у входа). Сейчас помещается лишь одна из служб университета — библиотека.

Заходим во двор. Снова братская могила. Снова Церетели снимает перед ней шляпу. Этот печальный жест приходится ему делать не раз. Бульвар, на котором стоит Белый Дом, называется теперь бульваром Юрия Гагарина. Как много, думается, может вместить в себя жизнь одного человека. Вот прилетел он сюда за тысячи километров для того, чтоб вспомнить давние времена. А жизнь все время напоминает о подвигах сегодняшних дней.

В этот день мы еще и еще разыскиваем памятные дома и места, бродим по улице Каландарашвили, на вокзале обнаруживаем старый тупик, в котором стоял состав с золотым за-

пасом, отвоеванным у Колчака. Михаил Варденович вспоминает, как сохранял он этот бесценный для Советского государства груз. А я все дивлюсь энергии этого представителя старой гвардии, не сгибающегося под ношей нахлынувших воспоминаний. Видимо, эта ноша одна из тех, которые не отнимают, а придают человеку силы.

* * *

Дорога в Черемхово идет через город Ангарск. Ангарск — совсем молодой городок. В этом году ему исполнилось всего 10 лет. Совсем недавно была здесь дремучая тайга и лишь на границе тайги, у реки Китой, стоял старый сибирский поселок и мост через реку. По этим местам проходил некогда ссыльный тракт.

Михаила Варденовича связывают с этими местами три эпизода.

Первый. Его, полуголого, босого, голодного, гонят из пересыльной тюрьмы на вечное поселение в деревню Гымыль Черемховского уезда.

Второй. По заданию «Дедушки» он с группой партизан взрывает мост через реку Китой, чтоб затруднить отступление белых.

Третий произошел недавно. Группа школьников-туристов приехала из Ангарска в Тбилиси. Михаила Варденовича, как участника борьбы за Советскую власть в этих местах, попросили встретиться с детьми. Они собрались в филиале Центрального музея В. И. Ленина. Михаил Варденович не только рассказывал, но и расспрашивал: «Как там у вас?»

И вот теперь он видит это сам. Видит вместо старого моста через Китой — новый. Вместо тайги видит город. Вместо старого тракта — Московскую улицу, которая по замыслу ангарских архитекторов, вопреки четкой прямолинейной планировке, имеет кривой профиль. Музейный кусок! Разве не стоит его сохранить? Теперь здесь стоят большие дома, в которых живут, учатся, работают. Михаил Варденович разглядывает витрину ателье мод. Сказал бы ему кто-нибудь лет 50 тому назад, что так будет!

Михаил Варденович идет по Московской улице и смотрит в лица молодых ангарчан. Может быть это те,

которые приезжали в Тбилиси? Не разыщешь их сейчас. В Ангарске 25 школ, 14 тысяч учащихся...

Внезапно слышится грузинская речь. Прошли двое молодых, переговариваясь на ходу. Окликаем: «Ам-ханагебо!» Знакомимся. Одного зовут Мито, другого — Вахтаг. Оба работают в комбинате бытового обслуживания. Рассказывают, что в Ангарске им жить нравится, называют еще имена грузин, которые здесь осели.

— Что ж, Сибирь — край хороший, — говорит им Михаил Варденович. — Я здесь жил, воевал и полюбил ее даже такой, какой она была раньше. А теперь она стала еще краше.

Наконец мы добираемся до Черемхово, окруженного невысокими холмами. Здесь Нина Несторовна чувствует себя как дома. Она еще не снялась с партийного учета в Черемховском райкоме партии, она еще председатель районного женского совета. Черемхово — районный центр, которому подчиняется Свирск.

Михаил Варденович ищет свою Щелкуновскую шахту. Ее нет. Не находит он и многих других шахт. Конечно, Нина Несторовна могла бы объяснить, в чем дело, но лучше встретиться с управляющим Черемховским угольным бассейном Владимиром Петровичем Пахомовым.

И вот происходит интересная беседа нынешнего управляющего с бывшим забойщиком. Конечно, Михаил Варденович помнит того управляющего, который был при нем. Приходилось ему с ним сталкиваться, как председателю шахткома. А мальчика, сына кухарки управляющего, он не помнит. Не мудрено: Миша Церетели был уже забойщиком, а мальчишка только тайком спускался в шахту и завидовал настоящим шахтерам. Может быть они и встречались, там, под землей, но кто теперь это вспомнит. Словом, мальчонка этот и есть ныне сидящий перед Михаилом Варденовичем управляющий бассейном Владимир Петрович Пахомов. Можно себе представить, какая завязывается беседа, как пересыпается она то и дело знакомыми именами, произносимыми, конечно, по-прежнему, по-молодому.

— Почти никого нет в живых, —

говорит Владимир Петрович, — одних гражданская унесла, других — Отечественная. Кто просто помер по старости. Пойдем-ка лучше посмотрим, как мы сейчас добываем уголек.

Едем далеко за город. Нечто похожее на сотворение мира. Мощнейшие угольные разрезы избороздили всю землю. Где взрывами, вывернувшими громадные скальные глыбы, где многокубовыми ковшами шагающих экскаваторов отодвигаются верхние пласты земли. Под ними, на глубине 40-50 метров — уголь. Тут же, на дне этих разрезов, путеукладчики тянут рельсы. По ним шныряют паровозы с платформами, груженными, порожними.

— Такой уголь, — говорит Владимир Петрович, — в два с половиной раза дешевле «шахтного». Сейчас у нас 8 разрезов и количество шахт все сокращается.

А Михаил Варденович радуется, что шахтеру не надо теперь лезть под землю. Все же, как ни оснащай по-современному шахту, а под чистым небом работается веселее. Немногословный, си все только приговаривает:

— Молодцы, ребята, а? Молодцы! Молодцы!

Он не чувствует себя здесь гостем, визитером. Все это — его, все это с ним происходит и для него. Да ведь это так и есть..

* * *

По пути из Черемхово (мы возвращались другой дорогой) Михаил Варденович просит остановить машину около здания, обнесенного высокой каменной стеной. Сейчас, реконструированное, подбеленное, оно выглядит совсем не таким страшным, как в те далекие времена, когда была сложена популярная арестантская песня:

Далеко в стране Иркутской
Между двух высоких скал,
Обнесен стеной высокой
Александровский Централ...

Перед нами — бывшая каторжная тюрьма, один из самых страшных застенков царизма. На фронте сохранилась доска с надписью: «Александровский Централ. Основано 18 ноября 1873 г.» Две «высокие ска-

лы» — это два холма, на которых расположилось село Александровское.

Михаил Варденович рассказывает, что в этом Центrale он однажды побывал. Но, конечно, тогда не до осмотра было. Здесь такое творилось! Забежал в коридор, может быть, только на несколько минут. Партизаны «Дедушки» освобождали эту тюрьму по заданию Иркутского губкома. В этой операции участвовал и Михаил Церетели. Он вспоминает, как долго и тщательно они готовились к ней. Централ был до отказа забит жертвами колчаковской контрреволюции. Стояла усиленная охрана. Церетели с товарищами переоделись в офицерские мундиры, действовали смело, решительно. Удалось освободить несколько тысяч человек. Многие из них влились в партизанский отряд.

* * *

В один из дней нашего пребывания в Иркутске мы отправились на Байкал. На всем протяжении до Байкала дорога шла, то отдаляясь, то приближаясь, к берегам так называемого, «Иркутского моря». Это «море» создано как водохранилище Иркутской ГЭС — старшей сестры нарождающегося ныне Братска.

Михаил Варденович уже побывал на плотине Иркутской ГЭС и, не найдя в этих местах знакомой железнодорожной станции Михалево (ее затопило), где шли некогда очень жаркие бои с Колчаком, вначале растерялся. А впрочем, решил он, плотина это лучший памятник тем, кто пролил здесь свою кровь. Пусть лежат они в земле, а над ними покоятся воды Ангары, которая даст скоро столько электроэнергии сколько ни одна река мира.

Добрая река Ангара. Доброе озеро

Байкал... Когда-то оно сослужило хорошую службу каландарашвилевцам. Это было в очень тяжелое время, осенью 1918 года. С небольшим отрядом верных бойцов Нестор должен был отходить из Иркутска от преследований атамана Красильникова. Вот здесь, на берегу Байкала, в селе Листвиничное это и произошло.

Мы подъезжаем к этому селу. У дороги стоит обелиск:

Вечная слава партизанам Байкала, павшим в борьбе за становление Советской власти.

Следуют фамилии расстрелянных.

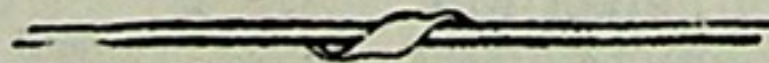
Все боевые друзья, соратники...

«Дедушке» удалось уговорить одного капитана дать в распоряжение партизан два парохода. Под свист пуль бойцы погрузились, и Байкал понес их навстречу новым испытаниям в Монголии, в Восточных Саянах. Страшная, голодная, холодная была зима, но люди выстояли, сохранили отряд как боевую единицу. И сколько было радости, когда после такого перехода партизаны «Дедушки» вдруг появились около Черемхово...

Шел 1919 год, надо было налаживать срочно связь с губкомом партии. Михаила Церетели как черемховца Нестор Александрович послал в разведку к шахтерам...

...Мы гуляем вдоль байкальского берега. Сейчас здесь выстроен прекрасный Дом отдыха для иркутян. За ветвями могучих кедров укрылись изящные коттеджи. Повсюду цветы. Внизу искрится под солнцем озеро. Рыбаки вышли на промысел. Как хорошо!

Как хорошо дожить до этого, увидеть, почувствовать все это кровным, родным...



Завет Ленина

А ведь Николай Кочиашвили¹ оказался прав. Возвращаясь с республиканского партийного съезда к себе, в Ширакскую степь, он с полной уверенностью говорил:

— Раз это завет Ленина, Никита Сергеевич без внимания его не оставит. Обязательно вспомнит!

Николай давно не расстаётся с копией письма Ленина «Товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики». Четыре десятилетия назад — в конце апреля 1921 года — это письмо привез в Тбилиси Александр Мясников, близко знавший Владимира Ильича.

Письмо посвящено важнейшим политическим проблемам Кавказа, Ближнего Востока, и все же В. И. Ленин дважды возвращался в нем к тому, что так волнует теперь Кочиашвили.

«Орошение, — подчеркивал Владимир Ильич, — особенно важно, чтобы поднять земледелие и скотоводство во что бы то ни стало».

В конце письма Ильич снова повторял:

«Сразу постараться улучшить положение крестьян и начать крупные работы электрификации, орошения. Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму».

Уж кто-кто, а Николай — уроженец Ширакской степи, где самый ма-

ленький дождик, чуть смочивший землю, и то памятное событие, — прекрасно понимал насколько дальновиден был В. И. Ленин. Орошение, орошение и еще раз орошение! Иначе...

Весной и летом я часто ездил по Ширакской степи. Был очевидцем поистине самоотверженной борьбы за урожай и страшно обидного поражения.

Напрасно люди с надеждой подымали глаза к небу. Изредка белесоголубой цвет уступал серому, с гор спускались тучи, а дождя так всю весну и не было. Озимые посевы начисто пропали. Люди посуровели и решительнее прежнего вывели на просторы степи сотни тракторов, бросили в схватку со стихией всю свою богатую технику. За несколько дней и ночей весь массив озимых был снова перепахан, пересеян кукурузой и подсолнечником.

На лицах уже заиграли улыбки, казалось, опасность миновала... Но нет! Снова налетели слепые силы разбушевавшейся стихии. Снова нещадная жара, обжигающий ветер, тучи пыли... На глазах жухли, свертывались, погибали всходы. По истомленной земле побежали трещины...

Коммунисты обходили соседей, друзей, стучались во все сердца: «Попробуем еще раз!»

Особенно убеждать не приходилось. Яростнее прежнего земледельцы в третий раз за лето перепахали степь, в третий раз посеяли. Бесплезно...

Труд, воля, богатая техника — это и очень много, и обидно мало. У людей не оказалось воды, той самой живой воды, в честь которой все на-

¹ Председатель колхоза имени Джапаридзе Цителцкаройского района, один из героев очерка «В Ширакской степи». «Литературная Грузия» № 6, 1961 г.

роды слагают легенды, которую славят в песнях.

Осенью на районной партийной конференции председатели самых больших и самых пострадавших колхозов — Кочиашвили, Кобаидзе, Мамаишвили — с большой горечью и обидой говорили:

— Была бы вода для полива, можно было все спасти!

— Нас бы выручил даже небольшой канал в Тарибани, — сетовал Кобаидзе из Земо-Мачхаани.

Николай сказал решительно и откровенно:

— Если бы столько десятилетий не потеряли, взялись — выполнили завет Ленина, не стихия, а мы были бы хозяевами урожая!

Пусть не будут в обиде товарищи из Госплана республики и Министерства водного хозяйства Грузии. Придется им напомнить, что в феврале, на Закавказском совещании передовиков сельского хозяйства с участием Никиты Сергеевича Хрущева, Николай Кочиашвили очень интересно говорил о давно назревшей необходимости построить Земо-Алазанскую оросительную систему.

— Как ожили бы долины Тарибани, Зиличи и Шираки! — восклицал Николай. — Сколько бы дополнительных продуктов мы получили! Здесь ведь можно оросить приблизительно 120—150 тысяч гектаров земель, создать крупные хозяйства...

Много, очень много горячих поклонников у Земо-Алазанской оросительной системы. Все дружно признают, что она даст колоссальные выгоды, как легендарная живая вода призовет к жизни десятки тысяч гектаров новых виноградников, обеспечит высокие, устойчивые урожаи пшеницы и кукурузы, сотворит чудеса на пастбищах. Как обидно, что до сих пор даже не начаты подготовительные работы по составлению технической документации и проектного задания.

И уж будем до конца откровенны: у Николая Кочиашвили и других цителцкаройцев существует и проект, несравненно более скромный. При очень небольших затратах (они полностью окупятся при первом же снятом урожае!) можно отлично оросить большие массивы земель колхоза имени Джапаридзе и нескольких других хозяйств. Никто не возражает. Все приветствуют. И который год —

ничего реального... Люди ждут, а слепая стихия — не захотела. Набрoсилась и, играючи, сожгла урожай, погубила колоссальный труд!

От засухи и удивительного невнимания к орошению пострадали едва ли не все самые большие районы Восточной Грузии. Конечно, государство, не медля, не ожидая просьб, поспешило на помощь. И пострадавшие колхозы устояли, сохранили скот, продолжают строиться, развиваются. А горечь в сердцах и сознание того, что завет Ленина еще не выполнен, остались.

Должно быть поэтому на XXI съезде Компартии Грузии так много делегатов остро говорили об орошении. Секретарь Гурджаанского райкома партии П. Дугашвили убедительно заявил:

— В Кахетии, в частности в Гурджаанском районе, засуха повторяется почти через каждые 2—3 года. Это наносит большой ущерб. Алазанская оросительная система не отвечает возросшим требованиям современного сельского хозяйства. Ее необходимо реконструировать. Республиканское министерство водного хозяйства должно изучить этот наиболее болезненный вопрос и как можно быстрее решить... В этом министерстве безусловно помогут наши колхозы и совхозы.

Другой делегат — председатель исполкома Болнисского района А. Мамедов сказал:

— Без орошения увеличить производство сельскохозяйственных продуктов нам не удастся. Обязательно надо улучшить и расширить существующие каналы, отрегулировать сток реки Машавера.

Министр водного хозяйства Грузии Г. Кобулия обрадовал делегатов съезда сообщением о том, что по просьбе Центрального Комитета Коммунистической партии Грузии республике выделены дополнительные средства, позволившие начать строительство Нижне-Самгорской и Телетской оросительных систем.

Грузия заслуженно гордится тем, что уже сделано для торжества жизни в Самгорской степи. Но главное еще впереди. Самые ощутимые результаты даст новая оросительная система. Она охватит и переустроит

пятьдесят тысяч земель в Сагаред-жойском, Гурджаанском и Сигнахском районах (бассейн среднего течения реки Иори).

Сейчас на этих густо заселенных землях, томящихся от засухи, ведется малопродуктивное, порою и просто примитивное хозяйство. Сады, виноградники, овощи, бахчи — все вместе занимают чуть больше двух процентов угодий. Урожай всех культур очень низкий. А когда придет живая вода, виноградники сразу займут десять тысяч гектаров. На площади почти в четыре тысячи га раскинутся сады. Можно сказать и иначе — поливные земли Нижнего Самгори каждый год будут давать винограда, фруктов, овощей, зерна и молочных продуктов на шестьдесят-шестьдесят пять миллионов новых рублей!

Телетская система создается преимущественно для нужд большого молочного хозяйства, призванного полностью удовлетворить потребности населения Тбилиси и Рустави. К тому же сами гидротехнические сооружения Телети очень интересны, просто уникальны. Впервые вода (из Куры) будет подниматься с помощью трех насосных станций на высоту более трехсот метров и перебрасываться через отроги Триалетского хребта.

Еще раньше — в следующем году — будет полностью закончено строительство Сионского водохранилища. И можно сказать, что к концу семилетки в значительной мере сбывается вековая мечта грузинского народа об орошении и переустройстве Самгорской степи.

...Если по библейскому преданию земля держится на трех китах, то в нашей действительности все дальнейшее развитие и благополучие сельского хозяйства Грузии, безусловно, зависит от трех гидротехнических сооружений: Нижнее Самгори, Верхняя Алазань и Колхида. Две больших, разветвленных оросительных системы и осушение заболоченной Колхидской низменности.

Колхиду справедливо называют грузинской целиной. После полного осушения и освоения на богатейших землях Колхиды могли бы разместиться шестьдесят шесть тысяч гектаров новых чайных плантаций, цитрусовых рощ и субтропических садов. Под виноградники и фруктовые сады

пошли бы примерно сорок тысяч гектаров. Тридцать тысяч га достались бы кукурузе и другим ценным кормовым культурам. Стало бы, широко развились молочные и свиноводческие хозяйства.

Колхида — подлинное золотое дно. А черпает республика оттуда непростительно мало. За долгие годы из двухсот двадцати тысяч гектаров осушены всего шестьдесят. Притом, не самые пригодные для чая и цитрусовых. Все осваивается нелучшим способом, порою просто неразумно, бесхозяйственно. Трест «Колхидстрой» давно растерял былую славу и не справляется даже с мизерными работами последних лет. А если не в следующем году, то все же в близком будущем за осушение Колхиды возьмутся по-настоящему, с этим нынешний трест, его руководство могут не справиться.

Итак, за Нижнее Самгори взялись. Алазань и Колхида ждут. И много более скромных проектов увязли — не то в Госплане, не то в Министерстве водного хозяйства. Пишу уклончиво, поскольку не во все ведомственные тайны проникнешь!..

Во всяком случае, Николай Кочияшвили — делегат цителцкаройских коммунистов — с большим удовлетворением голосовал за то, чтобы в резолюции XXI съезда Компартии Грузии было специально указано:

«Поручить ЦК Компартии и Совету Министров Грузинской ССР осуществить мероприятия по дальнейшему развитию орошаемого земледелия в республике, повышению культуры орошения».

В какой-то мере это партийное поручение и самому Николаю Кочияшвили. На съезде его избрали членом Центрального Комитета.

В те сентябрьские дни Николай и сказал так уверенно: «Никита Сергеевич без внимания не оставит. Обязательно вспомнит!»

И как же точно все сбылось! Как уверен коммунист из Ширакской степи: раз это волнует народ, значит первый секретарь его великой партии обязательно отзовется. Уж он не оставит завет Ленина без внимания.

Восемнадцатого октября, докладывая XXII съезду КПСС о проекте новой Программы — подлинном Коммунистическом Манифесте XX ве-

ка, — Н. С. Хрущев сказал именно то, чего ждал Николай:

«Наша партия придает особое значение ирригации, орошению полей. Ирригация — это составная часть ленинского плана электрификации... Уже в первые годы Советской власти, — напомнил Никита Сергеевич, — Ленин мечтал об орошении полей Закавказья и Средней Азии...

Теперь, когда мы имеем могучую индустрию, пришло время наметить и осуществить широкий план орошения с тем, чтобы создать устойчивую, гарантированную при любых условиях базу производства сельскохозяйственных продуктов.

По поручению Центрального Комитета КПСС Государственный экономический совет разрабатывает перспективный план ирригационного строительства. В стране сейчас насчитывается девять миллионов гектаров орошаемых земель. Ставится задача довести их площади примерно до 28 миллионов гектаров. Имеется в виду... провести большие ирригационные работы в районах Закавказья».

Быть может, к этому следует добавить, что проблемой орошения зе-

мель Кахетии и Карталинии и осушения и освоения Колхиды Никита Сергеевич живо интересовался будучи в Тбилиси, во время поездок по районам республики. Хрущев беседовал и с Николаем Кочиашвили.

И знаменателен отклик самих земледельцев. Делегат республиканского и всесоюзного съездов партии, председатель колхоза села Леселидзе Гагрского района Давид Ерквания воспользовался своим пребыванием в Москве для того, чтобы проконсультировать у видных специалистов проект первой оросительной системы, сооружаемой полностью за счет неделимого фонда артели. Почин, вполне доступный многим хозяйствам, имеющим неменьшие неделимые фонды. Тем более, что оросительные системы почти всегда межколхозные, и строить их можно на средства нескольких объединивших свои силы колхозов.

И уж можно не сомневаться: это придется по сердцу члену Центрального Комитета Компартии Грузии Николаю Кочиашвили. Человеку, расставившему так много надежных маяков на просторах Ширакской степи.

Великий ученый и поэт

Пушкин писал о Михаиле Васильевиче Ломоносове: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей».

И действительно, этот удивительный самородок соединил в себе и великого ученого и гениального поэта. Он был философом, физиком, металлургом, географом, биологом, астрономом, химиком и филологом. И каждую из этих областей науки обогатил открытиями, прославившими его на весь мир. Открытый Ломоносовым закон сохранения материи и движения лежит в основе современного естествознания, особенно физики и химии. Ломоносов — основоположник химической атомистики, раскрывающей атомно-молекулярное строение материи. Им положено начало совершенно новой науке — физической химии, связывающей физические теории и методы исследования с решением химических проблем. Большое внимание уделял Ломоносов развитию горнометаллургического дела. В области геологии впервые выдвинул идею эволюции. Он исследовал богатства недр России, выяснял условия мореплавания по Северному морскому пути из России в Америку, однако осуществить это оказалось возможным лишь в нашу советскую эпоху. Сторонник гелиоцентрической теории в астрономии, множества миров и бесконечности Вселенной. Ломоносов первым открыл воздушную атмосферу вокруг Венеры и в противовес учению церкви допускал возможность жизни на других планетах. Он производил смелые опыты над атмосферным электричеством и одновременно с американцем Франклином, независимо от него, создал

теорию образования грозных туч. Крупнейшие европейские ученые (например, знаменитый математик Эйлер) исключительно высоко расценивали оригинальность и смелость естественнонаучных трудов Ломоносова.

Теперь, в эпоху, положившую начало освоению космоса советским человеком, особенно приятно вспомнить, что Ломоносову принадлежит почетное место в истории воздухоплавания. Его «аэродромическая машина» была первой в мире действующей моделью вертолета.

Ломоносов создал «Новый российский атлас». Он оборудовал первую в России химическую лабораторию, основал первый завод цветных стекол.

Глубоко задумывался великий ученый и над жизнью своей страны, родного народа, добиваясь практического разрешения проблем, связанных с ее улучшением. Михаил Васильевич собрался написать цикл сочинений-проектов «Об истреблении праздности, об исправлении нравов и о большем в народе просвещении, об исправлении земледелия, об исправлении ремесленных дел и художеств, о лучших пользах купечества, о лучшей государственной экономии, о сохранении военного искусства во время долговременного мира, о размножении и сохранении русского народа».

Неотступно занимала его мысль о необходимости широкого использования естественных богатств страны. Он стремился поставить науку на службу человечеству и прежде всего — своей родине.

Разрабатывая материалистическую теорию познания, Ломоносов исходил из того, что источник познания — внешний мир, воздействующий на органы чувств человека... Ученый высказывался за соединение опытных данных с теоретичес-

кими выводами и решительно осуждал тех, кто отрывал познание разумом от чувственных восприятий, кто метафизически противопоставлял синтез анализу.

Весьма разнообразной и оригинальной была деятельность Ломоносова и в области гуманитарных наук. Пламенный патриот своей страны, он мужественно выступал против пристрастного искажения русской истории в трудах академиков-иностранцев, открыто указывая на их намерения принизить самобытность России.

Ломоносов-филолог издал первую русскую грамматику, составил курс риторики и написал ряд ценных рассуждений по общим и частным вопросам языка и литературы. Все эти труды направлены на развитие и упорядочение национального языка русской науки и русской литературы. Он очищал русский язык от иностранных слов и церковно-славянских форм за счет живой русской речи. Сам Ломоносов писал легко и ясно, как никто до него. Он хорошо знал достоинства русского языка и предвидел его будущее. И в самом деле, всего через сто лет, благодаря Пушкину, Белинскому, Гоголю, Тургеневу, Льву Толстому и другим писателям, русский язык достиг высокого совершенства.

Ломоносов установил для русского литературного языка три стиля («штиля»): высокий, средний и низкий. Но правила об этих стилях не могли, конечно, иметь общеобязательной силы для последующего времени. И это хорошо понимал сам Ломоносов. Однако очень важно, что в своей теории о стилях преобладающее место он отводил русскому языку; за счет ограничения славянского вносил порядок в тот речевой хаос, который царил в языке петровского и последующего времени. Ломоносов требовал «рассудительного» употребления слов.

Правильно определив природные свойства русского языка, вместе с Тредиаковским и Сумароковым, Ломоносов утвердил тоническое стихосложение взамен существовавшего силлабического. При этом он не отказывался и от использования достижений греко-римской и западно-европейской литературы и языка.

Поэтические же произведения Михаила Ломоносова явились не только прекрасной иллюстрацией к его филологическим работам, но приобрели и самостоятельное значение как первые успехи новой русской литературы. «С Ломоносова, — писал Белинский, — начинается наша литература...»

Ломоносов смотрел на поэзию как на высокое дарование человека в сочетании с его глубокими знаниями. Он придавал поэзии большое общественное значение и это подтверждал своим творчеством. Ломоносов — прообраз поэта-граждани-

на и поэта-мыслителя. Прославление России — главное содержание его творчества. Поэт искренне и восторженно воспевал величие ее просторов и природных даров, мощь ее оружия и труда, творческие силы и одаренность ее народа.

В те годы стране приходилось вести напряженную борьбу за упрочение своей государственности, и Ломоносов восхвалял торжество русского оружия, писал, что война рождает героев, но чаще воспевал «золотой мир», «возлюбленную тишину». Ода, написанная по поводу очередной годовщины восшествия Елизаветы на престол, — это поистине восторженный гимн в честь мира и счастья людей. Именно мир считал Ломоносов условием промышленного и культурного прогресса человечества. По мнению Ломоносова, применение оружия оправдано лишь в том случае, когда оно направлено против угрозы миру, в защиту родины, в защиту цивилизации.

В торжественных одах Ломоносова ярко выступает единство содержания и формы, цельный и своеобразный поэтический стиль. Традицию придворного словословия поэт обратил в литературный жанр, выражающий идею национального самосознания с предначертанием великого будущего родной страны.

Особое место в творчестве Ломоносова занимает образ Петра Первого. Поэт пишет «Слово похвальное Петру Великому», задумывает написать о нем большую героическую поэму, но успевает выполнить лишь незначительную часть, в которой, однако, уже вполне определен общий замысел произведения и облик его героя, как неутомимого борца за благо и счастье народа.

Глубокие мысли содержат так называемые «духовные оды» Ломоносова. Преклонение перед величием «творца» (бога) нисколько не поработает поэта, и он охвачен неудержимым стремлением познать все явления природы. Исключительно велики и художественные достоинства религиозной и научно-философской лирики Ломоносова.

В борьбе за просвещение народа он обращался и к сатирическим стихам, в которых бичевал, главным образом, церковников. Стихи эти написаны сравнительно простым языком, близким к разговорному. Есть у Ломоносова и несколько стихотворений, очень простых по языку и стиху, относящихся к так называемой «легкой поэзии».

С присущей ему смелостью и энергией добивался Ломоносов всемерного развития и процветания отечественной науки и культуры. Обращаясь к своим близким и далеким потомкам, он писал:

О, вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,

И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Об этом же мечтал в отношении своей терзаемой внешними врагами родины и современник Ломоносова, грузинский поэт Давид Гурамишвили. Судя по многим данным и соображениям, он, очевидно, был хорошо знаком с научной и литературной деятельностью великого русского ученого и поэта. Приведенные выше строки очень напоминают стихи Давида Гурамишвили о пользе науки для подрастающего поколения.

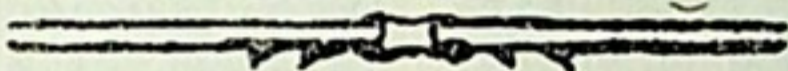
Гурамишвили как бы следует за Ломоносовым и в восхвалении образа и деяний Петра Первого. «Не умрут дела

петровы, существует мир доколе!» — восклицает Гурамишвили.

Высоко ценил творчество Ломоносова и великий грузинский поэт Важа Пшавела.

Любопытно, что для обоснования своих научных воззрений Ломоносов поэтически описывал муки Прометея, на которые его обрекла месть Зевса. А спустя более чем полуторастолетие, великие поэты Украины и Грузии — Тарас Шевченко и Акакий Церетели — обращаясь к тому же образу, приходили к утешительному выводу, что эти цепи должны быть вскоре разорваны и великий страдалец за счастье народа, наконец, освобожден. Известно, что оба поэта поработанных народов видели в этом долгожданное освобождение от социального и национального гнета.

И теперь, вместе со всеми братскими народами Советского Союза, грузинский народ с чувством глубокого благоговения отмечает 250-летие со дня рождения великого русского ученого и поэта.





Человек и эпоха

Заметки о новых произведениях русских писателей

Радость, гордость и ясность — вот слова, которые, пожалуй, лучше всего могут передать тот отзвук, который нашла в нашей душе — в душе каждого советского писателя — новая Программа КПСС. В чем одно из коренных отличий этой Программы от бесчисленного множества программ и программочек, которые принимались и принимаются буржуазными партиями любой капиталистической страны? В том, что, являясь программой действий нашей партии, нашего народа, она вместе с тем является высшим идейно-философским обобщением и конкретно-практическим воплощением самых заветных, самых высоких и благородных общечеловеческих идеалов и поэтому не может не быть в конечном итоге путеводным маяком для всего человечества в его поступательном движении к будущему. Таким образом, новая Программа КПСС — ярчайшее подтверждение того неопровержимого факта, что коммунизм — не что иное, как высшее проявление гуманизма, истоки которого уходят в глубочайшие глубины исторической жизни всех народов и всех стран.

Ответственные задачи встают в связи с этим перед советскими писателями. Ведь литература — по меткому определению Горького — **человековедение**, и кому, как не човековедам стоять в первых рядах борцов за человеческое счастье. Поэтому советская литература должна бороться за то, чтобы моральный кодекс коммуниста, с такой философской глубиной, научной четкостью и поэтической яркостью сформулированный в новой Программе партии, стал моральным кодексом каждого советского человека.

Каков же он — человек нашей эпохи? И каким должен быть герой нашей литературы? Вот, пожалуй, вопросы вопросов, которые всегда стояли и будут стоять перед советскими писателями — передовым отрядом мирового человековедения. Но «так ли прост» этот вопрос (именно вопрос, а не ответ на него), так ли он ясен сам по себе, что остается лишь на него ответить?

Литературные дискуссии последнего времени (при всей их ценности и плодотворности) еще раз подтвердили, вместе с тем, что необходимо уточнить исходные позиции спорящих сторон, уточнить предмет спора, уяснить, кого же, собственно, мы ищем и не подменяем ли порою понятие литературного героя понятием собственно героя, героического образа, не допускаем ли ошибку, против которой предостерегал еще Чернышевский, не ставим ли во главу «угла» понятие о сущности прекрасного» вместо того, чтобы исходить прежде всего из «понятия отношения искусства к действительности?» Ведь тесная связь литературы и искусства с жизнью народа предполагает обостренный интерес художника к **человеку** эпохи, а не только к личности героической, наиболее полно и гармонично воплощающей в себе нравственный идеал нашего общества. Будь не так, проблематика, связанная, скажем, с образом фурмановского Чапаева была бы глубже и значительнее проблематики, связанной с образом шолоховского Григория Мелехова, а «Железный поток» являл бы собой более высокую ступень человековедения, чем «Хождение по мукам» (я говорю именно о проблематике произведений, а не о силе таланта их авторов). Нет, мы одинаково гордимся всей великой классикой литературы социалистического реализма, ибо твердо знаем, что «если борьба за идеалы коммунизма, за счастье своего народа является целью жизни художника, если он живет интересами народа, его думами и чаяниями, то какую бы тему он ни брал, какое бы явление жизни ни отображал, его произведения будут отвечать интересам народа, партии и государства».

Эти замечательные слова Никиты Сергеевича Хрущева являются лучшей расшифровкой тезиса о тесной связи литературы и искусства с жизнью народа, и они, как нельзя лучше, помогают нам осмыслить почти полувековой опыт литературы социалистического реализма, уяснить наши сегодняшние задачи и увидеть перспективу будущего развития.

Они начисто. отмечают искусственную «номенклатуру» или «табель о рангах» литературных произведений, основанный на голом тематическом принципе, на приоритете одного «явления жизни» перед другим, на превосходстве одного литературного героя над другим.

«... Не стоит спорить о том, кто... важнее и кто главнее. Это был бы напрасный и безрассудный спор. Каждый важен на своем месте, если он хорошо выполняет свои функции, важно, чтобы у каждого было всегда остро отточено оружие и направлено в цель». Разве и в этих словах Никиты Сергеевича, обращенных к советским писателям в дружеской беседе с ними, не утверждается правомерность многообразия творческих интересов советских писателей, равноправие их в этом отношении, но при условии единства общей цели и «хорошего» выполнения ими своих «функций»? Нет, это не уравниловка, не отрицание любых «пограничных столбов» между «людьми подвига» и «людьми со всяческой требухой» (ведь речь идет об оценке работы писателя, а не свойств его персонажей). Это лишь признание той бесспорной, всей практикой нашей же советской литературы подтверждаемой истины, что лишь идейная позиция писателя и сила художественной правды, его изображению присущая, определяют, в конечном итоге, эстетическую ценность произведения. Именно поэтому вошли в золотой фонд советской литературы такие разные по теме, по изображенным в них героям и явлениям жизни и, наконец, по формам этого изображения, произведения, как «Хорошо», «Про это» и «Клоп» Маяковского, «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Судьба человека» Шолохова, «Хождение по мукам» и «Рассказы Ивана Сударева» Алексея Толстого, «Страна Муравия», «Василий Теркин» и «За далью даль» Твардовского, «Скутаревский», «Золотая карета» и «Русский лес» Леонова, «Человек с ружьем», «Аристократы» и «Сонет Петрарки» Погодина, «Двенадцать стульев» и «Тоня Ильфа и Петрова», «Разгром» и «Молодая гвардия» Фадеева, «Смерть пионерки» и «Человек предместья» Багрицкого, «Семен Проскаков» и «Лирическое отступление» Асеева, «Середина века» и «Большевикам пустыни и весны» Луговского, «Стихи о Кахетии» и «Киров с нами» Тихонова и многие, многие другие замечательные творения русских советских поэтов, прозаиков и драматургов. А советская классика других братских литератур?

Нет никакого сомнения в том, что среди признаков качественного своеобразия советской литературы одним из главных является ее героический дух. Но и эта героика советской литературы вряд ли может быть сведена к непосредственному

изображению героических подвигов. Героизм советской литературы прежде всего глубоко демократичен, пронизан светом революционного гуманизма, великой веры в человека и его духовные возможности. Гуманистическая героика советской литературы, без ханжеского и лицемерного «уравнивания в правах» всех, далеко не одинаковых по своим духовным качествам людей, не противопоставляет вместе с тем «героическое» «простому», а основана на глубоком убеждении, что в самом «будничном», «простом» человеке есть потенция «героического», что «человек рожден для лучшего», что новый, самый справедливый и гуманный в истории человечества уклад потому и создан народом, чтобы дать любому человеку возможность, на каком бы уровне своего духовного саморазвития он не находился, пройти этот путь от «низшего» к «высокому», от «обыкновенного» к «необыкновенному», от «будничного» к «героическому». Писатель вправе «задержаться» на любом этапе этого пути, лишь бы чувствовалась тенденция развития и отношение писателя к ней, то есть, его идейная позиция. И не нужно забывать об одном немаловажном обстоятельстве: существуют масштабы литературы, масштабы творчества данного писателя и, наконец, масштабы каждого отдельного произведения. И их нельзя путать при оценке того или иного литературного явления.

Вот такими разными и должны быть герои советской литературы, вернее, такими разными они и являются на всем протяжении ее бурной полувековой истории. Разве это «многообразие ради многообразия»? Нет, это многообразие во имя единой, высшей цели — во имя построения коммунистического общества, во имя окончательной победы коммунистической человечности в каждом члене общества, общества социалистического, которому органически чужд дух аристократической кастовости, если даже этот дух рядится в подновленные одеяния комчванства и победоносиковщины. Раньше других это понял не кто другой, как Максим Горький, который на недоуменный вопрос одного из своих корреспондентов, почему, мол, писатель решил изобразить людей «дна» и не вложил в уста Сатина «призыв к восстанию», то есть, почему он не изобразил революционеров вместо обитателей ночлежки, четко и ясно ответил: «Я хотел — и хочу — видеть всех людей героями труда и творчества, строителями новых свободных форм жизни. Мы должны жить так, чтобы каждый из нас, несмотря на различие индивидуальностей, чувствовал себя человеком, равноценным всем другим и всякому другому. Это достижимо лишь при социализме. Само собою разумеется, что проповедь социализма я не мог вложить в ус-

та людей, разбитых жизнью, неспособных к труду, готовых поддаться всякому утешению. Но из утешений хитрого Луки Сатин сделал свой вывод — о ценности всякого человека... И Горький справедливо подчеркнул далее, что в этом смысле «сигнал к восстанию» можно и нужно «услышать в словах Сатина, в его оценке человека». Вот этого умения все-таки «услышать в словах Сатина» «сигнал к восстанию», то есть, понять позицию автора и увидеть тенденцию его героя, тенденцию его развития вместо того, чтобы упрекать писателя за то, что герой еще не таков, каким его хотелось бы видеть — этого умения порою критикам и не хватает.

Говорят, что нельзя все же ставить на одну доску Сатина и Нила, деда Щукаря и Давыдова, Гвади Бигву и Тарасия Хазарадзе, Вальку-дешевку и Зою, Митясова и Воропаева, Рощина и Мересьева. Даже если нельзя, то лишь на каждой данной ступени развития и становления их самосознания. И Щукарю, и Гвади, и Вальке, и Рощину, и Федору Таланову, и Митясову предстояло или еще предстоит пройти свой путь до Давыдова и Хазарадзе, до Воропаева и Мересьева. Но это преимущество временное и, к тому же, это преимущество Нила перед Сатиным, Воропаева перед Валькой, Мересьева перед Рощиным, а не «Мещан» перед «На дне», «Счастья» перед «Иркутской историей» или «Повести о настоящем человеке» перед «Хождением по мукам». Ценность каждого из этих произведений определяется совершенно иными — не тематическими, а идейно-художественными их качествами и особенностями. Не в выборе героя, а в отношении к нему писателя, в задаче, которую он ставит перед собой, сказывается социалистический гуманизм и подлинно демократический героизм советской литературы. Именно здесь проходит граница между гуманизмом буржуазным, абстрактным и гуманизмом советским, социалистическим. Одно дело мораль Луки — «Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха, все черненькие, и все прыгают» и другое — мысль Горького, заложенная в образе и судьбе Васьки Пепла и выраженная в знаменитых словах последнего: «Надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить, чтобы самому себя можно мне было уважать... Оттого я вор, что другим именем никто, никогда не догадался назвать меня». Советская литература «назвала другим именем» униженного и оскорбленного, искалеченного и изуродованного прежним бесчеловечным строем человека. Вместе со всей советской действительностью она не только дала «лучшим» полную возможность раскрыться и развернуться, но и перед теми, кто оказался «на дне» или в «ту-

пике», или просто на периферии большой жизни — открыла трудную, но ясную дорогу к духовному возрождению, к вершинам человечности, к труду и творчеству, а следовательно, и к героизму.

У нас теперь, разумеется, нет «дна» как социального явления, но есть и еще долго будут существовать различные ступени духовного и нравственного развития, будут передовые и отстающие люди.

«Пионеры, как известно, идут впереди, прокладывают дорогу главным силам, но они не должны отрываться от этих сил, пытаясь действовать обособленно от других... Не велика бы была ваша заслуга, если бы вы замкнулись в своих коллективах, сказали бы — мы чистенькие, мы хорошие, а до остальных нам дела нет. Партия, народ видят в вас новаторов, потому что все, что вы сегодня завоевали, все рубежи, которых вы сегодня достигли, вы стремитесь завтра передать другим. В этом ваша сила, в этом ваша слава». Эти слова Никиты Сергеевича Хрущева непосредственно были обращены к ударникам и бригадам коммунистического труда, но смысл их, конечно, гораздо шире и они являются, в частности, прекрасным ключом к проблемам человека советской эпохи и героя советской литературы. В них есть и трезвое понимание того, что не все члены нашего общества являются «пионерами будущего», и глубокая вера в возможность духовного роста «главных сил», и резкая отповедь любой попытке деления советских людей на «чистых» и «нечистых», и ясное указание на великую силу примера. Нужно ли особо оговаривать, что под «примером» следует подразумевать не только жизнь и труд «пионеров», но и «путь главных сил», и не только рядовой массы, но даже сил отстающих, отставших, если этот путь ведет, в конечном итоге, к передовым рубежам? А разве пример отрицательный не поучителен? Разве не важен показ того, каким не следует быть или как не следует жить? Если общий, конечный идейно-эмоциональный вывод — заряд, заложенный в образе, ясен и верен, разве этот образ не будет служить все той же единой цели — воспитанию человека в духе коммунистической человечности? Но, по-видимому, оговаривать все это нужно, так как, если нет двух мнений относительно плодотворности и необходимости изображения в литературе уже вполне сформировавшихся новых людей, совершающих подвиги, «пионеров будущего», то изображение представителей рядовых, а тем более отстающих «сил», нет-нет, а вызывает настороженность, сомнения или даже осуждение со стороны некоторой части наших литературных критиков, склонных считать

изображенные писателем недостатки тех или иных литературных героев недостатками самого изображения, недостатками произведения, а то и недостатками идейной позиции автора. А стремление писателей к изображению рядовых людей — сознательной и злонамеренной попыткой «дегероизации» (придуман же самоновейший ярлык!) советской литературы! Не в свете действительной идейной позиции писателя рассматривают такие критики литературных героев, а судят об идейной позиции автора, исходя из одного лишь фактора выбора им той или иной темы, явления жизни, того или иного героя, даже той или иной формы воплощения своего замысла.

Критики, сомневающиеся (если не на словах, так на деле) в плодотворности творческого многообразия, очень категоричны и смелы, когда речь идет о новых произведениях литературы и искусства, затрагивающих животрепещущие и острые проблемы современности, но они забывают, что с такими же сомнениями воспринимали они или их предшественники в свое время и четвертую книгу «Тихого Дона», и «Сестер» Алексея Толстого, и «Про это» Маяковского, и «Лирическое отступление» Асеева, и «Золотую карету» Леонова, и «Зависть» Олеси, и «Одиночество» Вирты, и «Кружилиху» Пановой, и «В окопах Сталинграда» или «В родном городе» Некрасова, и не одно произведение Сарьяна или Гудиашивили, Прокофьева или Шостаковича, Эйзенштейна или Довженко.

К счастью, это пройденный этап. Вне всякого сомнения кругозор нашей критики в целом за последние годы — после XX съезда КПСС и благодаря ему — расширился неизмеримо, хотя и тут вся наша жизнь и, в частности, жизнь нашего искусства, каждый раз опережала сторону «оценивающую». Буквально на наших глазах произведения различных видов искусства, которые при своем появлении встречают недопонимание и недоумение, если и не осуждение некоторых критиков, — властно занимают свое место в жизни нашей страны, в сознании людей, а глядишь — и той же критикой включаются, как ни в чем не бывало, в обиход «положительных», а то и «выдающихся» явлений нашего искусства. Особенно быстро этот своеобразный процесс «поспевания» критики за явлениями искусства происходит в кино и театре, где более быстрое завоевание тем или иным произведением зрительских масс подстегивает и нашего брата, критика. «Поспевание» это происходит иногда буквально «на корню»: читая сценарий или пьесу, критики и редакторы морщились, но вот Чухрай или Товстоногов уже на премьере заставляли их иными глазами взглянуть на экран или на сцену, на худой конец, просто «переориентироваться на ходу».

Да, в целом сдвиги налицо и в этой области, но и косности, к сожалению, хоть отбавляй. Именно косности. И пусть не обижаются те, к кому это слово может относиться. Лучшего определения не подыщешь и для И. Патрикеевой с ее разносной статьей о «Неравном бое» Розова, и для М. Гуса и А. Метченко с их критическим ударом по повести Войновича «Мы здесь живем», и для В. Сурганова или того же М. Гуса с их предвзятой критикой повести В. Тендрякова «Суд», и для Г. Гракова с его выступлением против фильма «Шумный день» (где сказались неприятие и самой пьесы Розова «В поисках радости», которая легла в основу фильма), и для Ю. Верченко и К. Поздняева с их поистине фантастическим толкованием маленького стихотворения Е. Евтушенко «Нигилист», в котором критики усмотрели чуть ли не пропаганду нигилизма или по крайней мере проповедь примирения с ним. Если же выйти за пределы литературы, то можно вспомнить некоторые критические выступления по адресу таких фильмов, как «Летят журавли» М. Калатозова, «Чужие дети» Т. Абуладзе, «Первый день мира» Я. Сегеля и т. п. Список этот легко можно было бы увеличить.

Да, во всех этих «хороших и разных» произведениях показаны разные герои — и те, которые рвутся в бой за правду, и те, которые еще не осмыслили этой правды, и те, которые прошли уже свой путь от «требухи» к «подвигу», и те, которые только-только осознали, что путь этот необходимо пройти. Но, чтобы еще «ненаучившиеся» могли научиться, надо уважать их завтрашний день, самому верить в него, надо вселять в их душу веру в себя, в свои силы, в свое человеческое достоинство. Нужно показать, что «герои» выходят и из их среды, что героизм не привилегия, а тем более не монополия «избранных», «чистеньких», а результат человеческих усилий, нравственного развития, духовного обогащения, закалки характера любого, в принципе, человека, что груз прошлых ошибок, недостатков и «всяческая требуха», которыми человек, возможно, отягощен, — не закреплены за ним на вечные времена, не фатальны, груз этот нужно и можно сбросить, недостатки — преодолеть, «требуху» — изжить и уничтожить, выжечь из своей души, и тогда путь к героизму открыт.

Главное: человек должен быть готов к подвигу, испытанию, к исключительным обстоятельствам, которые могут ему встретиться в жизни, к крупному единовременному экзамену, срок которого не назначен, но может выпасть в любое время. Наивно думать, что на долю каждого достойного, каждого настоящего человека выпадет этот экзамен подвижничества и героического свершения, но неудели от этого те, кому он не выпадет, — хуже «счастливиц», морально ниже «удостоившихся»? В день, когда на до-

лю Юрия Гагарина пал выбор, — к подвигу были готовы не один и не два гражданина Советского Союза. И, воздавая должное героизму Гагарина, мы воздаем тем самым должное и любому из его товарищей, готовых к подвигу.

Все помнят поразивший мир подвиг Асхата Зиганшина и его товарищей. А если бы не приключилась с ними беда? Неужели люди эти всю жизнь должны благодарить несчастный случай, который их прославил? Нет, они должны благодарить себя за то, что оказались подготовленными и к беде, и к доблести, и к подвигу, и к славе. Благодарны стране, народу, обществу, ближайшей среде, друзьям, родным, товарищам за то, что с ними, среди них выросли и воспитались. Ведь подвиг оказался лишь неожиданной проверкой их человеческой ценности, беда же — трудным экзаменом их души! А не будь ее, разве вся их жизнь не должна была бы быть в своей совокупности таким же экзаменом — менее заметным, громким, эффектным, но все же экзаменом? А в чем-то, может быть, даже более трудным, так как большая беда сразу мобилизовала в них все самое лучшее, сильное, стойкое, светлое, а «будни» могли не вызвать такой «тотальной» мобилизации их человеческой энергии. Так неужели же оттого, что мне не выпадает на экзамене наиболее трудный и ответственный билет — моя подготовка, мои знания станут меньше, ниже, хуже? Нет, пафос нашего общества, его роста, его развития, его движения к коммунизму в том, чтобы все его члены стали достойными этого коммунистического будущего, которое уже на наших глазах становится настоящим. Критики же, которые брезгливо зажимают пальчиками нос при виде «нечистых», демонстрируют, в первую очередь, свою собственную духовную ограниченность и узость и даже политическую невоспитанность, ибо тем самым расписываются в том, что не верят ни в человека и его возможности, ни в воспитательную силу той среды, того общества, того уклада, которые окружают человека.

И как не сослаться тут на пример, к которому и до меня уже неоднократно обращались в нашей литературе — на пример подлинной коммунистической гуманности, основанной не на филантропической жалости к «падшему» члену общества, а на глубокой вере в человека, в его лучшие качества, которые должны победить в нем. Я имею в виду яркий рассказ Никиты Сергеевича на III съезде писателей о его встрече и беседе с вором-рецидивистом, обратившимся к нему с письмом. «Для того, чтобы поставить этого человека на правильный путь, — сказал Никита Сергеевич, — нужен другой подход, — нужно поверить в человека, в его лучшие качества. Может ли этот человек быть активным

участником коммунистического строительства? Может, товарищи!»

Вор-рецидивист может и должен стать активным участником коммунистического строительства! — в этих словах не только сила веры в человека, но и смелость, глубина мысли.

Не случайно еще Маркс писал (очень удачно и к месту вспомнил об этом Л. Шейнин в отличной своей брошюре «Человек и закон»), что государство даже в правонарушителе «должно видеть человека, живую частицу государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который должен защищать свою родину... члена общества, исполняющего общественные функции, главу семьи, существование которого священо, и, наконец, самое главное — гражданина государства». Как видим, предсказание Маркса оказалось живой практикой наших дней, нашей советской действительности.

* * *

Но, может быть, мы ломимся в открытую дверь, повторяя эти истины? Может быть, мы голословны в своих упреках по адресу некоторых критиков, которым, с нашей точки зрения, недостает внимания к «сложностям жизни и многообразию искусства»? Послушаем же этих критиков и заметим к тому же, что в произведениях, которые вызвали с их стороны осуждение, речь идет даже не о ворах-рецидивистах, а о людях, не совершивших никаких преступлений, но просто не возвысившихся еще до высокого уровня коммунистической нравственности или только еще ищущих дорогу к этим «высотам», а то и поднявшихся достаточно высоко, но «стартовавших» с уровня более низкого, чем это могло быть угодно нам, критикам.

Вот поэт Евгений Евтушенко в разнообразнейшую галерею воссозданных им в своей лирике человеческих образов, где мы встречаем и лирические «портреты» советских людей, во всех отношениях достойных подражания, и образцы лучших представителей народных масс зарубежных стран, включает поэтическую зарисовку «фабричной девчонки» Муськи, которая еще не всему хорошему научилась в жизни, которой еще, ой, сколько расти, чтобы «дорости», но которая, даже ошибаясь, всей душой тянется к чистоте, свету, к неомраченной радости большой любви и подлинно человеческого счастья. И она находит это счастье, потому что в нашей жизни оно олицетворяется не в «сказочных принцах», а просто в хороших советских людях, которым глубоко чуждо обывательски-ханжеское чистоплюйство и столь же органически свойственна вера в человека, доверие к человеку. Или вот коротенькое стихотворение того же Евтушенко — «Нигилист» — портрет парнишки, который лишь по некоторым внешним приметам был назван «нигилистом» (носил узкие

брюки, увлекался Хемингуэем и Пикассо — как видим, и «приметы»-то не бог весть какие криминальные, даже если эти, вполне законные сами по себе, страсти на какое-то время были для него односторонними и наивно-политическими). Короче говоря, «нигилистом» парень был в кавычках, проявил же он свою истинную сущность, когда спасал товарища ценою собственной жизни.

Вот и все. Об этом, об этих молодых людях и пишет поэт. Но вот реакция некоторых критиков. Сначала о Муське: «...автор с явной симпатией рисует пустую прожигательницу жизни. В изображении Евтушенко она выглядит родной сестрой лещенковской Мурки, грязной распутницей, кутящей вечерами на средства всякого рода «сволочей с руками липкими». Но вот явился сказочный принц из рыбного института, и оба они нашли в этом знакомстве счастье. Кажется, чему тут умиляться? А Евтушенко умиляется, и именно в этом умилении — суть стиха, который, таким образом, оборачивается поэтизацией гнилой морали всех этих Мурок, Мусек» (Ю. Верченко). Или: «...еще больше здесь смакования теневых сторон жизни некоторой части нашей молодежи. Кого поднимает на щит поэт? Кто, в конечном счете, его Муська? Действительно ли это работница?.. Фабрика «пристегнута» здесь для красного словца, в известной мере для рифмы к слову «бабники», а суть стихотворения, его пафос — в другом... И, право же, никак не верится, что встретившись со студентом из рыбного института, Муська сразу преображается. Полюбила... Только и всего. Но это слишком зыбкий аргумент, чтобы делать вывод, будто девица легкого поведения возвратилась из мрака к свету» (К. Поздняев).

Теперь о «Нигилисте»: «В стихотворении Евгения Евтушенко «Нигилист» все «шито белыми нитками». Его герой — биофаковец... Он был ниспровергателем взглядов «честных производственников», и он погиб, товарища спасая». Ну и что же? Достаточно ли художнику слова упоминания о смерти, чтобы делать вывод: видите, он не был нигилистом? Как можно всем ходом повествования развенчивать героя, а затем — одной только ссылкой на смерть — реабилитировать его?.. Кому это на потребу?.. Стихотворение «Нигилист» возьмут на свое «вооружение» подлинные нигилисты» (К. Поздняев). Второй критик (Ю. Верченко) анализирует эти стихи «сложнее»: он сначала уверяет читателя, что в первых строках стихотворения, где «небрежно набросан портрет молодого человека», нет «ничего плохого», но что, прежде чем сказать о гибели своего героя, спасшего товарища, Евтушенко, «видимо, по легкодумью

своему, незаметно для читателя, на место одной фигуры подставляет другую — настоящего нигилиста — и начинает ее оправдывать и защищать. Вот здесь-то и обнаруживается неприличность его смыслового и поэтического хода. Вот этого-то человека, зараженного ядом неверия, эстетского брюзжания, мы не можем ни принять, ни оправдать». И далее критик «уверяет» поэта, что человек, который может «отдать дань любой зарубежной моде, тратить свою жизнь на пустяки», в минуту испытаний не может стать героем.

Да, «неприличный смысловой ход» «подстановки одной фигуры на место другой» действительно имеет место, но не в стихотворении Евтушенко, а в филиппиках цитированных нами критиков. Это они в своем критическом изложении превратили Муську в «грязную распутницу», «девицу легкого поведения», в стихотворении же Евтушенко речь идет о работнице фабрики, которую скорее можно было бы сблизить с Женькой Шульженко из «Фабричной девчонки» Володина или с Валькой-дешевкой из «Иркутской истории» Арбузова, которые при всех своих жизненных просчетах и промахах, при всей недоразвитости своей юной души, отнюдь не «родные сестры лещенковской Мурки». Домысел же о том, что «фабрика пристегнута здесь для рифмы к слову «бабники», не просто произволен, а возмутителен, ибо если критик и имеет право говорить о художественной неубедительности того или иного образа, то он никак не волен приписывать поэту сознательную маскировку в злонамеренных целях «реабилитации» людей «с гнилой моралью», чтобы затем обвинить писателя в воспевании и «поэтизации» этой «гнилой морали». И неужели критики не заметили, что по всей интонационной и, главное, смысловой структуре стиха не только автор, но и сама Муська дает гневную «оценку» всем этим «бабникам», вертящимся в столовке, что это она (вместе с поэтом) восклицает (сразу же вслед за этой строкой): «Ах, эти сволочи, с их улыбками, с такси и водочкой, с руками липкими, с хрустеньем денег и треском карт, с восторгом: «Детка, ты чудный кадр!» Гневно восклицает, чтобы тут же увидеть восхищенными и ясными глазами настоящего человека («И вдруг он, верящий, большой и добрый, какой-то бережный, как будто доктор»). Надо быть эмоционально безграмотным и поэтически глухим, чтобы не увидеть и в этом гневном порыве, и в этой нахлынувшей радости истинное отражение души героини стихотворения Евтушенко.

К такой же «подстановке» прибегают критики и в случае со стихотворением «Нигилист». Когда я прочитал в

статье Ю. Верченко, что Евтушенко в начале стихотворения нарисовал чуть ли не безобидный, хотя и «небрежный» «портрет молодого человека», с вкусами которого можно спорить, и оскорблять которого нет никаких оснований, но что поэт вслед за этим «незаметно для читателя» подменил мнимого «нигилиста» настоящим, «эстетствующим хлюпиком», «зараженным ядом неверия», когда я далее прочитал в статье К. Поздняева, что поэт «всеми ходом повествования развенчал героя, а затем одной только ссылкой на смерть реабилитировал его», я, откровенно говоря, решил, что речь идет о каком-то другом стихотворении или о новом, незнакомом мне, варианте его. Где, когда могла произойти в стихотворении эта подмена? Ведь в нем всего несколько строф, и после «небрежного портрета молодого человека», в котором, по признанию критика, нет пока еще «ничего плохого», следуют лишь строки о том, как к этому «молодому человеку» относились родители и родственники, а сразу же после этого идут заключительные строки о гибели мнимого «нигилиста», который умер, «товарища спасая». Где, когда произошла или могла произойти «подстановка»? И о каком «ходе всего повествования», «развенчивающем» к тому же героя, идет речь? Ведь ничего этого нет в стихотворении, в этом, по крайней мере, стихотворении (а другое-то читателям не известно)! Я не хочу в данном случае поднимать вопрос о том, откуда у цитированных мной критиков появился этот пафос барски-пренебрежительного отплевывания при виде, при мысли (ибо вряд ли можно «увидеть» собственный домysel) о «хлюпиках» и «девицах», и почему они не могут допустить мысли, что, если вор-рецидивист может стать активным строителем коммунистического общества, то и «хлюпикам» и «девицам» не заказан этот путь. Откуда это неверие в человеческие возможности, в лучшие качества человека, которые помогут ему победить? Неужели не замечают критики эти, что от разноса поэтов они переходят (вполне заметно для читателя) к такому «разносу» Мусек и мнимых или действительных «нигилистов», который по сути дела исключает, отнимает у этих последних право, возможность, надежду, перспективу «выхода» из морального тупика, в котором они якобы оказались, или, предположим, и впрямь очутились? Неужели эти критики не знают, что даже по отношению к западной молодежи, куда более основательно зараженной ядом «нигилизма» и «гнилой моралью», в наше время восторжествовал совершенно иной подход, основанный на доверии к лучшим, может быть, и загнанным куда-то в

тайники их юных, но засоренных душ, человеческим качествам? Что это «буржуазная пропаганда», — как отметил Никита Сергеевич в одном из своих выступлений, — распространяет измышления о современной молодежи, называя ее «потерянным поколением», изображая ее аполитичной, но что факты последних революционных выступлений в ряде стран показывают, что молодежь является большой революционной силой». Мне хочется в этой связи напомнить здесь и о высказывании замечательного итальянского тайновидца молодых душ — Джанни Родари о так называемых «бручатти» — («сожженных») — этом мнимом «потерянном поколении» итальянской молодежи. Эти слова Родари о «бручатти» и о своей новой книге, в которой они изображены, приводит Ф. Александрова в очерке, напечатанном в журнале «Юность». «...Синклит бородатых педагогов собрался... чтобы выработать методы борьбы с «бручатти». Кто предлагает, не долго думая, пустить в ход гильотину, кто рекомендует ограничиться кнутом... А герой книги за шелухой экстравагантных мод, рок-н-ролла, эксцентричных выходов видит живые юные сердца. И он взывает к уму и сердцу «бручатти»: «Проснитесь вы, наконец! Нельзя носить деревянно-равнодушную маску перед лицом нынешних бед страны — безработицы, засилья церкви, угрозы фашизма!» Да, еще год назад я, может быть, и не написал бы эту главу так, как она написана сейчас... У нас тогда вызывала тревогу эта молодежь, в двадцать лет будто бы уставшая от жизни... Но теперь я могу сказать: нет у нас поколения «сожженных».

Так неужели же у нас есть эти «потерянные» и «сожженные»? Неужели Муськи и мнимые «нигилисты» — советское потерянное поколение? Почему и на какой общественно-социальной основе это могло произойти? Я далек от мысли, что у нас, только лишь в силу социалистического уклада нашей жизни, не могут уже появляться всякого рода выродки и ублюдки типа печальной памяти Файбишенко или этого выводка разных Паписмедовых. Но разве о них идет в данном случае речь? Разве о спасении их душ заботятся поэт Евтушенко и другие советские писатели — молодые или немолодые? Разве не их-то как раз, всех этих «сволочей с руками липкими», клеймит беспощадно поэт, разве не от их грязного прикосновения хочет уберечь он своих героев, своих Мусек? И вовсе не умиляется, глядя на них, поэт даже не жалеет (ибо жалость унижает), а любит их, потому что любовь возвышает, потому что он верит им, верит в их «выпрямление», верит в нашу жизнь, в силу нашего общества, которое поведет за собой, поднимет до

себя всех, в ком теплится хоть искра человеческая, даже тех юных, призрачных страшилищ, которые мерещатся инным критикам, а тем более просто незрелую и спотыкающуюся молодежь. Да, поистине из искры возгорится пламя, и оно, именно оно, беспощадно выжжет из человеческих душ все нечеловеческое. И никто никогда никому не даст на нашей советской земле права не видеть этой «искры», а тем более брезгливыми плевками пытаться затушить ее в душах Мусек и Валек, Женек и Колек, Димок и Аликов, Юрок и Галек. И честь и хвала тем советским писателям, которые не отмахнулись от этих героев, обезопасив себя стереотипным — «это не типично, таких у нас нет», а, как правильно отметил Юрий Бондарев в одной своей статье (о «Звездном билете» В. Аксенова), честно сказали себе и обществу: «Такие молодые люди есть, надо помочь им определиться». А как писатель может помочь определиться молодежи, ошибающейся, спотыкающейся, бравирующей не только мнимой оригинальностью, но подчас и мнимыми или явными «грехами» и «пороками» своими, если не придет к ней с открытой душой и открытым взором, не вступит с ней в дружеский спор, не купит ее доверия, единственно возможной в таких случаях ценой — своим к ней доверием? Неужели мы, критики, не должны знать, понимать, догадываться, что в таких случаях писатель обязан порой заговорить со своим новым другом и на его языке, даже на его жаргоне, памятуя, что «класс-то жажду заливает квасом? Класс — он тоже выпить не дурак», и что все здесь решает глубинная и конечная идейная и нравственная позиция писателя, то есть то, зачем он пришел к человеку, какую он ставит перед собою цель — действительно ли умиляться его нынешним видом или вселить в его душу ненависть к «сволочам с руками липкими» да по-человечески сказать ему, что он чета не им, а хотя бы этому вот славному «верящему, большому и доброму» студенту из рыбного института.

Хочется вспомнить один интересный эпизод из нашей литературной жизни. Давным-давно, еще в двадцатых годах, когда, как известно, не только таких Мусек и «нигилистов», которых описал Евтушенко, но и таких, какие померещились некоторым критикам, было куда больше, чем теперь, Алексей Максимович Горький обратился к молодым поэтам с призывом «пойти в пивные», чтобы встретиться лицом к лицу с этой молодежью, откровенно и честно поговорить с ней на чудодейственном языке стиха (Горький-то всегда верил в могучую преобразующую силу поэзии, любви, дружеского доверия). Но предоставим лучше слово самому Горькому:

«Развелось немало пустозвонов, которые читают только для того, чтобы «возразить», прокричать о своей революционности... В одной статье я спросил: «Почему бы «начинающим» поэтам не придвинуться ближе к действительности, не выступать на эстрадах пивных, не послушать критику той, в большинстве тоже молодой, публики, которая, может быть, ходит по пивным не только для того, чтобы пить...» Два поэта из Ялты возражают: «Мы считаем ваш совет глубоко ошибочным и вредным, потакающим росту есенинщины. Вы объективно оправдываете есенинщину, легализуете ее, толкаете советскую общественность на путь отказа от борьбы с нею». Возразили, обнаружив, что читать внимательно они еще не научились и не поняли, что в пивных также, как и в рабочих клубах, можно не только пиво пить, но и читать стихи».

Эти слова Горького — свидетельство мудрой прозорливости одного из величайших «человековедов» нашей эпохи. И это писал непримиримейший борец против «кривлянья», «оригинальничанья», «гнилой морали», «эстетского брюзжания», «яда неверия», «нигилизма». Но он знал, с кем и на каком языке говорить, он умел орудовать не только «общеклассовыми» и «социальными понятиями», но и находить «в каждой изображаемой единице, кроме общеклассового, тот индивидуальный стержень, который наиболее характерен для нее, и в конечном счете определяет ее социальное поведение».

А разве такая постановка вопроса исключает сатирическое бичевание тех недостатков, которые свойственны хотя бы тем же Муськам и «нигилистам»? Ведь все дело опять-таки в том, какую задачу ставит перед собой художник в каждом конкретном случае. Цель едина — воспитание человека, а воспитать можно и доверием, и осмеянием, и наказанием — это известно любому школьному учителю — все дело в том, чтобы найти «индивидуальный стержень» «каждой изображаемой единицы». И не случайно сатира оперирует преимущественно общими, родовыми понятиями и признаками, а лирика обращается к индивидуальным характеристикам — в этом сила и многообразие форм идейно-эмоционального воздействия искусства на человека... Нет, никто не будет стоять с «кнутом» в руке, а тем более с «гильотиной» у порога великих достижений, к которым предстоит прийти нашему народу. И вы, Муськи и Вальки, вы, мнимые «нигилисты» будете к тому времени не только духовно зрелыми и душевно чистыми гражданами своей страны, но и активными строителями того самого здания, у порога которого вы окажетесь. И если уж кому будет грозить опасность застрять у этого порога, то все

тем же победоносиковым, которые издавна, еще с маяковских времен, пытались отлучить от будущего хороших, в чем-то слабых, еще не успевших духовно вырасти людей, в том числе и женщин, вся беда которых была в том, что они якобы «компрометировали перед коллективом» разных главначушсов тех времен. И пусть каждый из нас, литературных критиков, боится этой мрачной тени, которая где-то может упасть на наши строчки, на нашу работу.

* * *

Мы до сих пор говорили об оценке некоторыми критиками произведений, в которых описаны герои так или иначе ошшоающиеся, с той или иной долей «требухи» в душе (ведь целовалась все-таки Муська до замужества, а «нигилист» носил-таки «узкие брюки», ну и в живописи Пикассо увлекался неизвестно еще чем — реалистическими полотнами и «Голубкой» или кое-чем другим). Но иных критиков не устраивают даже такие герои, которые абсолютно безупречны в нравственном отношении — и работают на совесть (к тому же — на целине), и учатся добросовестно, и любят, и дружат по-настоящему, и непримиримы ко всему дурному, что может встретиться на их пути, и, наконец, просто по-человечески симпатичны и обаятельны, если, конечно, смотреть на них не предвзято, а глазами друга и доброжелателя. Таковы герои повести В. Войновича «Мы здесь живем» и в первую очередь главный герой этой повести — Гошка. Так что же на этот раз могло вызвать неодобрение критиков? Ведь пишет же А. Метченко, что в повести «нет ни одного героя, которого вы способны полюбить», что «все они удивительно примитивны и не очень заметно отличаются по своему духовному развитию от Вани-дурачка, жалкая фигура которого открывает повествование. И, может быть, не случайно Ваня-дурачок даже в чем-то оказывается привлекательнее других персонажей повести». И дает же образ Гоши критику М. Гусу повод обвинить молодого советского писателя, каждая строчка которого говорит прежде всего о влюбленности самого автора в советскую жизнь и в советских людей, не больше не меньше, как в «преднамеренном снижении пафоса нашей борьбы», в «дегероизации нашей эпохи», в выступлении «против прямого, ясного, открытого воспроизведения героики наших дней». Так в чем же дело? Может быть, мы солгали, охарактеризовав Гошу как прекрасного работника и чистой души человека? В чем же состоит его роковая вина, за которую в ответе, в первую очередь, автор? М. Гус, уточняя свое обвинение в «дегероизации» и в «преднамеренном снижении пафоса нашей борьбы», проговаривается в чем дело. Ока-

зывается, «повесть оспаривает плодотворность не только изображения нашей действительности в ключе романтического, но и отвергает правомерность открытого, прямого выражения героями произведения и его автором отношения к изображаемому». Не будем в данном случае задерживаться на явно софистической логике утверждения, что если данная повесть не является по своей форме или духу романтической или лирико-публицистической, то уже тем самым автором обязательно «оспаривается» и даже «отвергается» всякая возможность иного, чем у него, изображения действительности. Задержим внимание читателя на том, что как раз М. Гус «оспаривает» и «отвергает» правомочность иного, чем романтический или лирико-публицистический, словом, предполагающий «прямое выражение» героями и автором своих идей, способа художественного воплощения материала. Очень характерно в этом отношении и более конкретное указание критика на авторскую, якобы, «точку зрения на героизм нашего народа», которая, оказывается, «совпадает с совершенно чуждой нам и глубоко неверной исторической концепцией, по которой человек — лишь «игральная карта большой истории». Всю эту гневную обвинительную тираду со ссылками на «чуждые исторические концепции» вызвал коротенький, непреднамеренный, не претендующий на глубину какой-либо «исторической концепции», чуждой или не чуждой, ответ Гоши на праздный вопрос белоручки и «книжного романтика» Вадима — зачем же он сидит на целине? Вот и ответ Гошки: «Ну, как? Ну... нужно, так вот и сидим. Урожай кому-нибудь нужно убирать». Вот и вся Гошкина трагическая вина. Этот работающий, до щепетильности добросовестный и честный парень, настоящий человек долга и человек дела — не любитель, вместе с тем, громких слов, даже вполне правильных и умных, даже лучше и глубже выражающих суть его собственного дела и его собственного мироощущения, чем этот его простой и неприятельный ответ Вадиму. **Таков его характер, такова его натура**, таковы, если хотите, его вкусы, а не какая-то «историческая концепция», унижающая и унижающая якобы человека. Но критик ловит его на слове, уверенный, что ему удалось припереть к стенке и автора и его героя: «Гоша, если он и впрямь герой нашего времени, не мог не сказать бездельнику Вадиму, что это «нужно» выражает и его, Гошки, внутреннее убеждение, что это не только внешняя необходимость, но и веление его сердца, его совести. Разве может быть героизм по формуле «нужно, так вот и сидим»? Это ведь обывательщина! И если Гошка ничего, кроме этого «нужно», не видит в окружающем его мире, то он духовно ни-

щий человек и его не спасет ни то, что он не пожелал на экзамене воспользоваться шпаргалкой, ни то, что он отказался везти на своей машине рвачей-шабашников. Это все неплохо, но этого все же маловато, чтобы быть героем нашего времени».

Хорошо, допустим, что Гошка действительно обязан был изложить перед Вадимом свою «историческую концепцию» с четким разграничением фаталистического детерминизма и материалистической диалектики, что он совершил все-таки ошибку, не растолковав — не столько Вадиму, сколько будущим судьям своим, — что под выражением «нужно» он имеет в виду не только «внешнюю» необходимость, но и внутреннюю потребность (кстати, он не уточнял и того, что здесь имеется в виду именно необходимость «внешняя»). Разве не стоило в таком случае критику, которого настрожили слова Гошки, еще раз мысленным взором обозреть и проверить на этот раз уже не просто слова, а жизненное поведение героя, выявить его моральный кодекс, исходя из более достоверного, чем прямая декларация своих мыслей и чувств, источника, из дел Гошки, из того, что и как он делает на протяжении всей повести, как он поступает, как относится к работе — как к тяжелой и постылой обязанности или как к делу своей жизни, как он относится, далее, к учебе, к людям — близким и далеким, чуждым, как он реагирует на события и поступки других людей, живущих рядом — хороших и плохих. Ведь это Гошка работает самозабвенно, ведь это он учится добросовестно, ведь это он защитил Ваньку-дурачка от издевательств мерзавца-кладовщика, ведь это он наказал по заслугам рвачей-шабашников, ведь это он разоблачил расхитителей общественного добра, ведь это он проявил поразительную деликатность и чистоту и в дружбе, и в любви, ведь это он не мог простить своему другу Анатолию, что тот, входя в чужую хату, «ног не вытирает», ведь это он готов казнить себя мыслью, что чуть не оскорбил любимую Саньку недоверием! Ведь это он, короче говоря, оказался настоящим человеком, скромным, чистым, порядочным, трудолюбивым, преданным и делу, и людям! Человеком, воплощающим в своей жизни моральный кодекс коммуниста! Но, видите ли, «все это неплохо, но этого все же маловато, чтобы быть героем нашей эпохи». Это мы, читатели, думаем вместе с другом Гошки — Толей, что как раз такие парни, как Гошка, способны совершить любой героический подвиг во имя Родины.

«— Ты, Гошка, я думаю, смог бы, — неожиданно сказал Анатолий.

— Что — смог бы?

— Подвиг совершить.

— Подвиг? Нет, наверно, не смог бы. — Гошка вспомнил, что когда-то об

этом же его спрашивала Санька. — Где уж, — вздохнул он, — даже с Санькой быть человеком не смог. А тут...»

А критик все разматывает ролик своих обвинений: нет романтики — значит, автор против нее; нет публицистики и прямых деклараций — значит, автор «преднамеренно снижает пафос нашей борьбы»; нет в словах Гошки требуем и «исторической концепции» — значит, точка зрения автора совпадает с концепцией «чуждой»; не смог писатель, по мнению критика, «выразить истины жизни» — значит, он легко мог «исказить» и «даже скрыть правду», а это уже не могло не обернуться ложью о жизни (подчеркнуто М. Гусом). Прямо как в старинном анекдоте о женской логике, в котором жена на ласково-безобидные слова мужа — «Милочка, ты, кажется, не права», ответила: «Ах, я не права? Значит, я говорю неправду! Говорить неправду — значит, лгать, лгать — значит, брехать, брешут собаки...» — хлопнула дверью, прибежала к отцу — «Папа, я ухожу от мужа, он меня обозвал сукой!» Анекдот, при всей своей мужской тенденциозности, все-таки веселый, а вот статья М. Гуса наводит на далеко не веселые размышления о принципиальности и этике критика. Признания же А. Метченко, что в повести «Мы здесь живем» нет «ни одного героя, которого вы способны полюбить», звучат как признание критика в своей собственной неспособности полюбить. Да простится мне такая резкость, но она справедливее, чем отношение иных критиков не только и даже не столько к писателю Войновичу, сколько к людям, живущим и в его повести, и во всей нашей стране, — а таких людей очень и очень много — скупых и сдержанных на слова, но умеющих жить настоящей жизнью, имеющих право со скромной гордостью сказать о себе и о своей Родине: «Мы здесь живем».

Как не вспомнить здесь замечательные строки Ольги Берггольц из ее «Февральского дневника», который писался в самые трудные и самые героические для Ленинграда дни его беспримерной обороны:

Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды,
Дыша одним дыханьем

с Ленинградом,

Я не геройствовала, а жила.

А вот посмотрите, что говорит деятель искусства, способный глубоко полюбить человека, замечательная ленинградская артистка Зинаида Шарко об одном из таких рядовых, обыкновенных, честных и принципиальных во всем тружеников нашей страны, для которых моральный кодекс коммуниста стал собственной плотью и кровью: «Тамара из «Пяти вечеров» А. Володина, моя любимая роль... Я знала, что вокруг пьесы идут споры, а у критиков есть претензии к ней. Но я — актриса и скажу лишь о том, как я по-

нимаю Тамару, почему считаю ее современной и за что люблю. Тамара — женщина стойкая, верная, искренняя и естественная во всем. Мне легко говорить ее слова, потому что они не выдуманы и знакомы мне еще до пьесы, так говорят в жизни. Мне легко жить ее жизнью, работать на ее заводе, ехать домой в трамвае, уставать, заниматься общественной работой, ссориться с племянником, накручивать волосы на бигуди, напевать под гитару. Зритель узнает Тамару — я не могу не чувствовать этого со сцены. Он знает, что и работник она крепкий — на таких людях и держится производство. И тут не важно, что Тамара не так уж много говорит о своей работе, зритель знает, такне и работают... Вот откуда внешняя сдержанность Тамары. И я вижу, что и здесь она современна. С Тамарой, у которой мало слов, мне легко и зрителям легко, а с некоторыми женщинами, которых приходится играть и у которых слов гораздо больше, мне трудно. Слова значат только то, что они значат, а вот между словами — как много у нее! В этой роли мне хочется быть предельно достоверной... Играя свои любимые роли, я поняла и другое: сегодня актеру надо думать, много думать, как никогда раньше...» («Театр», № 6, стр. 135).

Видите, какой получается парадокс: некоторые критики обвиняют героев, подобных Гоше и Тамаре (а Гоша, кстати, натура более активная, чем Тамара), в том, что их действия «не освещены мыслью» (М. Гус), что такого рода люди «сравнительно примитивны» и их «вы не способны полюбить» (А. Метченко), а талантливая, остро чувствующая и всегда думающая актриса говорит не только о своей любви к таким героям, но и о том, что, живя на сцене их жизнью, она поняла, что «сегодня актеру надо думать, много думать, как никогда раньше».

Повторяю, таких людей, как Гоша, очень и очень много, и это не бросает тень на тех, кто умеет не только глубоко чувствовать, но и искренне, пламенно, романтично выражать, высказывать свои мысли и чувства друзьям, товарищам, соседям, обществу. И те и другие — настоящие советские люди, способные на подвиг во имя социалистического Отечества. И они — грозная и непримиримая армия борцов против всех тех, разного калибра и масштаба, рвачей, выжиг, эгоистов, шкурников, индивидуалистов, которые, прикрываясь священными для каждого советского человека словами, делают свое мелкое и грязное дело, которое и делом-то без кавычек не назовешь. И эти бойцы могли бы сказать своим антагонистам те же слова, которые швырнул в лицо своему противнику герой одной из пьес А. Арбузова: «Есть у меня на земле враг... Он не капиталист, не подлец-империалист и даже

не сукин сын — социал-предатель. Это враги явные и открытые, а тот враг иного склада. В чем его великая вина? Он мне принадлежащие слова говорит. Те слова — о Родине, о партии — которые не ему, а мне всего дороже. Иному совестно о своей любви к родной матери болтать, а этот до хрипоты кричит: люблю, беззаветно люблю... Но и того мало! Он, свои шкурные, жалкие интересы прикрывая, со мной от имени государства говорит. А кто дал ему это право? Никто. Вот за это его самозванство я не стану его щадить. Никогда! Никогда. слышишь?»

Но демагогия непростительна не только тогда, когда она прикрывает жалкие шкурные интересы, но всегда, во имя какой бы, хотя бы самой высокой цели, к ней не прибегали. Это то средство, которое дискредитирует цель, бросает на нее мрачную тень. И пусть каждый из нас, литературных критиков, боится этой тени, которая где-то, в чем-то может омрачить наши строчки, нашу работу.

Целью критического анализа всегда является двуединая задача: понять художника, осмыслить и оценить объективное содержание созданных им образов. И ясно, что не поняв художника, своеобразие его замысла, нельзя оценить и верность его произведения действительности. Мы уже были свидетелями того, как предвзятое, необъективное отношение критиков к писателям помешало им увидеть действительный облик воссозданных ими героев и толкнуло на «подстановку» одних фигур на место других. Ясно, что идейно-политическая оценка писательского труда оказалась в этих случаях, мягко говоря, неверной. И как тут не согласиться с умной, принципиальной, до конца честной статьей В. Кожевникова «Штурм вершин», в которой он, в частности, выступает против «необоснованных сомнений относительно идейной направленности произведений» ряда молодых авторов и утверждает, что «в нашем отношении к молодым литераторам не должно быть места для политической мнительности», что «идейная сфера искусства самая тонкая и сложная, и касаться ее нужно бережно и с уважением». Это, разумеется, в равной мере относится к творчеству не только молодых, но и более опытных писателей. Можно ли усмотреть такое «бережное и уважительное» отношение к «тонкой и сложной сфере идейности» в статьях критиков, которых мы выше касались? К сожалению, нет. И происходит просто поразительная вещь — чем «тоньше и сложнее» в том или ином произведении сфера идейности, тем меньше «бережности и уважения» к ней находим мы в работах иных критиков. И тут я не могу не сослаться на оценку в известной части

нашей литературной критики некоторых произведений одного из самых ярких и одаренных, серьезных и бескомпромиссно-принципиальных советских писателей, каким себя давно уже зарекомендовал Владимир Тендряков. Речь идет о его новой повести «Суд». Здесь не место подробно анализировать это, на мой взгляд, замечательное по своей идейной целеустремленности и силе художественного воплощения произведение. Я вполне допускаю, что оно может вызвать споры, что не все в этой повести будет одинаково воспринято и оценено всеми критиками. Но что сказать о критиках, которые не просто спорят, а выдвигают против автора такие, скажем, по сути дела политические обвинения, — М. Гус: «Тендряков этой руссоистской конструкцией противопоставил природу — обществу, биологическое начало — социальному, да еще к тому же социалистическому»; В. Сурганов: «Хочет того или не хочет Владимир Тендряков, он уходит сам и уводит своих героев на позиции давней мужичьей неприязни к «казенным людям», к законам, к государству, — все равно чьи бы интересы оно не защищало!»

Оба критика, как видим, почти единодушно приписывают В. Тендрякову противопоставление своей «руссоистской конструкции» или позиции «мужичьей неприязни» началу социалистическому и даже самому социалистическому государству. Можно было бы кое-что сказать здесь о политической этике критиков, говорящих о такого рода «противопоставлении» советским писателем своей позиции социализму, но сдержимся на этот раз и посмотрим, дает ли что-нибудь в повести Тендрякова хоть какое-либо основание в квалификации его позиции, как якобы «руссоистской». Это поразительный случай не только неумения, но, пожалуй, даже нежелания понять замысел художника! Ведь повесть целиком строится на художественном претворении трех основных авторских идей, тесно взаимосвязанных к тому же: «Истина и счастье людей неотделимы друг от друга», «мало вносить в глухомань материальную культуру... надо учить людей, как жить», «нет более тяжкого суда, чем суд своей совести». Ясно, что ни к «руссоизму», ни к «давней мужичьей неприязни» эти идеи никакого отношения не имеют, а если и имеют, то только в том смысле, что направлены, в частности, и против них. Так что же, быть может, критики не вычитали этих идей в повести? Нет, они прекрасно их заметили, и мы даже привели их здесь в кавычках, как раз в изложении одного из них — М. Гуса. Вычитали, но не для того, чтобы понять, а чтобы, как говорил Горький, «возразить и прокричать о своей революционности». Послушаем же М. Гуса:

«Но если Дудырев и нашел моральное успокоение в мысли, что истина и счастье людей неотделимы друг от друга, то, во-первых, он-то ведь пренебрег истиной, а во-вторых, такую аксиому ему следовало бы знать и заранее». Не будем здесь касаться вопроса о том, «пренебрег ли истиной» герой повести Дудырев (критик тут явно не понял даже сюжетного развития повести, не говоря уже о психологической эволюции образа Дудырева), допустим, что Дудырев где-то, в чем-то пренебрег истиной, но значит ли это, что истиной пренебрег автор? Ведь вывод, который кажется критику столь аксиоматичным, делает в первую очередь сам автор. Это им лично выстраданная мысль, даже если она для других и не нова. И какая, подумайте, легкость — «эту аксиому следовало бы знать заранее»! Многие аксиомы были смело провозглашены, тов. Гус, например, на XX съезде партии, но мало их было знать «заранее», а надо было еще знать, когда, в какой исторической обстановке и как их провозгласить, чтобы принести наибольшую пользу своей Родине, своему государству и своей партии! А ведь были в партии и такие люди, которые не все «знали заранее», и им после XX съезда пришлось пройти определенный путь духовного развития и идейной закалки, путь морально-политической кристаллизации и самоопределения, прежде чем вновь обрести внутреннее право на провозглашение «аксиом». И когда критик В. Сурганов, возражая своему коллеге И. Борисовой, с таким наивным удивлением перед лицом все тех же «заранее всем известных аксиом» с риторическим пафосом вопрошает — «что может нам объяснить... угрожающую эволюцию Дудырева!.. Когда именно была присуща ему «естественная, врожденная честность»? Кто те нравственные «предшественники» его, которые так полно обладали этой честностью?.. Как растерял ее сам Дудырев?» и т. д. и т. п., то не знаю, как И. Борисова, а я не поленился бы повторить ряд «всем известных аксиом» применительно к судьбе Дудырева, что ему, Дудыреву, была свойственна «естественная честность» настоящего коммуниста, пролетария, что его «нравственными предшественниками» были мужественные борцы за свободу рабочего класса и всего трудового народа, что «угрожающая эволюция» Дудырева произошла в годы господства культа личности, когда кое-кем провозглашалась, а кое-кем принималась мысль о том, что не обязательно держать ответ перед судом своей совести, а достаточно полагаться на одну-единственную, якобы непогрешимую совесть, что честность свою Дудырев отнюдь не «растерял», а, к сожалению, законсервировал в душе, и что он теперь как раз за это и расплачивается перед

судом своей совести, что XX съезд партии принес и ему, Дудыреву, духовное возрождение, освободил его от инерции мысли и чувства, помог «пока еще живой частице его души» вступить в борьбу с «неживой», что в самой этой борьбе — залог окончательной победы Дудыревых, и что «аксиому» о том, что «истина и счастье людей неотделимы друг от друга», повторила еще раз партия, а не Дудырев, но она руководство валась при этом и той мыслью, что до этой «аксиомы» Дудыревы должны дойти своим путем, своим умом, а не просто принять ее как готовый вывод. Неужели же все это «заранее» не было известно нашим критикам? Неужели же они, ревнители высокой идейности, не знали замечательных и мудрых ленинских слов о том, что «если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не произведя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически относиться, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно». И неужели же они, литераторы, не помнили хотя бы о блоковской мечте о том, «чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». И неужели они, вглядываясь в Дудырева, ставя перед собой и перед читателем вопросы об «эволюции» этого человека, сначала «угрожающей», а потом основанной «на пока еще живой частице его души», не могли найти на эти вопросы тот ответ, который дал, скажем, кожевниковский Балувев на вопрос: «Вы всегда одинаковы были?» — ответивший — «Зачем? Все растет, все изменяется, скажем, после Двадцатого съезда всех нас партия улучшила. Я, например, для себя какой-то ответственного вывод сделал? Ищи у каждого человека в первую голову его лучшее, а не худшее».

Но ни М. Гус, ни В. Сурганов не захотели увидеть и поэтому не увидели направление «эволюции» Дудырева и то, как XX съезд «улучшил» его. В. Сурганов ограничился недоуменным вопросом о причинах и характере «эволюции» Дудырева. М. Гус же иронически-небрежно бросил по поводу осознания Дудыревым одной из «заранее всем известных аксиом»: «несколько поздноато для коммуниста... но ничего не поделаешь, такова воля автора повести...»¹

Так обстоит дело с отношением кри-

¹Поразительная вещь: «Ну и что же?» — вопрошал К. Поздняев по поводу того, что биофаковец «погиб, товарища спасая». «Только и всего?» — спрашивал он же, узнав, что Муська «полюбила»; «маловато для героя нашего времени», — писал М. Гус о благородных поступках Гоши; «Такую ак-

тиков к идеям повести Тендрякова об истине, совести и счастье. Посмотрим теперь, как комментируется третья главная идея повести. М. Гус сначала излагает мысль, заложенную в повести: «Мало вносить в глухомань материальную культуру, завершает свои размышления Дудырев, надо учить людей как жить».

Что, казалось бы, неверного в этой мысли? Но послушаем критика: «Если бы речь шла о повышении культурного уровня, образования вкусов, то рассуждения Дудырева были бы столь же верны, как и не новы (опять призрак «заранее всем известных аксиом!» — Г. М.). Но ведь речь идет о том, чтобы внедрять новую мораль: «учить, как жить». А это значит, что «бесхитростные, суровые» законы леса нужно заменить другими. Какими? Такими, которые научат Тетерина применяться к обстановке и с нею «согласовывать» свою совесть?.. Иного смысла рассуждения Дудырева иметь не могут». Итак, учить жить Тетериных, это значит учить их сделкам со своей совестью, подлости и приспособленчеству — вот, оказывается, единственная мысль, к которой мог прийти и пришел Дудырев? Ну что на это ответить? Воздержаться и на этот раз от моральной квалификации такого, с позволения сказать, критического анализа и самим повторить еще раз, к какой мысли действительно пришел Дудырев? Сделаем так, и не побоимся сказать, что Дудырев пришел опять-таки «к столь же верным, сколько не новым» аксиомам о «повышении культурного уровня», образования, вкусов обитателей глухомани. Он этих слов не произносит, но вопит о неотделимости истины и счастья, необходимости донести до глубины души каждого обитателя «глухомани» эту величайшую правду на земле, которую с новой силой стало утверждать наше общество. «Учить жить — это значит учить людей видеть большую правду жизни за мелкими неправдами быта, большую правду людей за мелкими правдами людишек». Разными путями, но именно к этому выводу пришли оба главных героя повести Тендрякова — и Дудырев, осмысливший еще раз, что «истина и счастье людей неотъемлемы», и Тетерин, понявший, что «нет более тяжкого суда, чем суд своей совести». И нечестно намекать, что в повести Тендрякова «суд совести» якобы противопоставляется «революционной совести, коммунистической морали», ибо о необ-

сному ему следовало бы знать заранее», — пишет он же о Дудыреве и, наконец, — «поздноато для коммуниста». — повторяет он здесь. Не смахивает ли эта «наивная» способность удивляться и недоумевать на цинизм?

ходимости их соответствия и об их «неотделимости» как раз и идет речь в ней.

И как не вспомнить здесь слова Никиты Сергеевича Хрущева о «недопустимости предвзятой, необъективной оценки труда писателей, художников, композиторов, деятелей кино и театра», о том, что «нельзя считать нормальным», что в литературно-художественной печати публикуются нередко статьи, целиком отвергающие те или иные книги, кинофильмы и спектакли, не показывающие сильных и слабых сторон этих произведений».

Мы, разумеется, далеки от мысли, что все случаи неверной и несправедливой оценки критиками тех или иных произведений следует объяснять «предвзятостью и необъективностью», а тем более недобросовестностью или сознательной демагогией критиков. Напротив, мы уверены, что большей частью речь должна идти об ошибках критиков и пережитках догматического и вульгаризаторского подхода к явлениям литературы и искусства. В чем же корень большинства ошибок такого рода? Как нам кажется, — в забвении той истины, что в искусстве «нужно в каждой изображаемой единице найти, кроме общеклассового, тот индивидуальный стержень, который наиболее характерен для нее и в конечном счете определяет ее социальное поведение». Эта горьковская формулировка теснейшим образом связана с ленинской мыслью, высказанной им в известном письме к Инессе Арманд, где Владимир Ильич глубоко и тонко замечает, что если в политической литературе и публицистике необходимо и существенно «противопоставление... классовых типов», то в искусстве (например, в романе) важен «индивидуальный случай», ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе «характеров и психики данных типов». Разумеется, и в «индивидуальном случае» преломляется «классовый тип» психики и отношений, но в каких разнообразных вариациях он преломляется! Сколько часто даже диаметрально противоположных оттенков он предполагает и допускает! Не будь так, задача литерату-

ры сводилась бы к фиксации ограниченных «классовых типов», и эта задача могла бы быть разрешена в весьма ограниченном числе произведений. Но, к счастью, индивидуальные «случаи» и «стержни» неисчислимы и неисчерпаемы поэтому разнообразие литературных героев, богатство и многообразие искусства. Классическим примером несоответствия «классового типа» и «индивидуального стержня» является личность и судьба Григория Мелехова. И сколько критиков в свое время, включая некоторых крупнейших писателей нашей страны (таких, как, например, Алексей Толстой), ошиблись в оценке финала «Тихого Дона», осудив автора за то, что он, якобы, погрешил против правды жизни, не приведя представителя среднего крестьянства к принятию платформы советской власти. А если вспомнить все те же первые годы утверждения советской власти в нашей стране, то какими разными оказались судьбы представителей совершенно одинаковых социальных групп! И к чести советской литературы, она во всей полноте отразила это богатство и многообразие человеческих судеб, не забывая ни о «классовых типах» и общих закономерностях эпохи, ни об «индивидуальной обстановке» и «анализе характеров и психики данных типов». Критики же, о которых мы говорим, оперируют всегда «типовыми» и «родовыми» понятиями, групповыми критериями, то есть шаблонами и трафаретами, догмами и канонами, регламентами и номенклатурными табелями, и поэтому сплошь и рядом попадают впросак при каждом новом столкновении с каждым новым явлением искусства, имеющим свой «индивидуальный стержень».

Но, к счастью, само советское искусство опрокидывает любые критические схемы, которые «скроены» и «сшиты» не по росту ему. Реальный, многообразный поток советского искусства бурно устремлен вперед, он освещает себе путь ярким светом коммунистических идей, беря истоки в артезианских глубинах самой жизни, в свою очередь оплодотворяя, обогащая и развивая ум, чувства и волю всего нашего народа, каждого советского человека.

В плену противоречий

Большой любитель и знаток грузинского искусства А. В. Февральский из года в год следил за развитием, успехами и неудачами театра имени Руставели и анализировал их. Накопив, таким образом, богатый материал, он задумал написать книгу, призванную познакомить русского читателя с искусством этого интересного театрального коллектива. Свое детище, плод многих лет труда и раздумий, автор скромно назвал очерком развития, хотя по своим масштабам он позволяет думать, что мы имеем дело с попыткой написать историю театра.

Коснемся нескольких вопросов, неизбежно встающих перед читателем при ознакомлении с книгой А. Февральского¹.

Театр имени Руставели, в отличие от многих других, имеет свой неповторимый художественный облик, свой, слагавшийся десятилетиями, творческий почерк, а также то историческое русло, по которому следовало его движение вперед. В то же время он — театр советской формации — в его практической деятельности (как в частном, конкретном — целое, общее) отразились основные моменты и узловые вопросы истории советского искусства. Только с учетом этих положений можно написать подлинную историю театра имени Руставели. Как же справился с этой сложной задачей А. В. Февральский?

В обращении к читателю автор отмечает, что театр имени Руставели принадлежит «к числу самых выдаю-

щихся театров Советского Союза». Ниже определяется его основное направление, как реалистическое по своему характеру, содержащее в себе в то же время сильную романтическую струю. И, наконец, характеризуя творческое лицо театра имени Руставели, А. Февральский называет его театром героико-романтического направления. Это определение общепризнанно, оно не вызывает возражений, так как подтверждается всей историей творческого коллектива руставелевцев. Исходя из этого, мы вправе были ожидать от автора книги, что он увидит историю театра имени Руставели как историю борьбы за создание романтически возвышенного театра героических характеров и больших страстей, за становление того своеобразного художественного стиля и характера искусства, которые отличают его от других театров и в то же время завоевали ему славу высокоталантливого коллектива. При таком подходе деятельность его руководителей, режиссеров, актеров, а также спектакли, роли, события, факты должны были бы анализироваться в соответствии с генеральной линией его развития. Каждому из этих явлений, отдельным работникам театра следовало найти только им принадлежащее место в достижении этой цели в соответствии с его ролью и заслугами в деле создания своеобразного художественного и творческого облика театра.

Период, когда в основном слагалось художественное лицо театра, насчитывает, примерно, первые 17—20 лет его истории. В последующие же годы сохранялось, утверждалось все лучшее, значитель-

¹ А. Февральский. «Театр имени Руставели». Очерк развития. Государственное издательство «Искусство». Москва. 1959.

ное, ценное, то есть все то, что стало традициями театра. Этому периоду следовало уделить особенное внимание, подвергнуть тщательному анализу все факты из жизни театра, спектакли, актерские и режиссерские работы, выделить этапы и этапные постановки с целью выявления в них художественных элементов, из которых слагались стиль, характер и содержание искусства театра имени Руставели.

Первое и самое значительное слово в истории грузинского советского, и в частности руставелевского театра, принадлежит Котэ Марджанишвили. Он, уже сложившимся художником, приехал в Грузию и принес с собой новое понимание искусства и его места в жизни народа. И если при меньшевиках грузинский театр влачил жалкое существование, в нем безнаказанно царили рутина и штамп, то с приходом К. Марджанишвили он, почувствовав необычайный прилив творческих сил, разрушил и отбросил все старое, ненужное, мешающее его развитию. Властной рукой отбирал К. Марджанишвили все, что могло помочь ему в его благородном деле, смело экспериментировал, искал актерские таланты, призванные в дальнейшем нести на себе основную тяжесть творческого созидания. Утвердив в грузинском театре высокое профессиональное мастерство и сценическую культуру, вырастив целую плеяду актерских и режиссерских индивидуальностей, К. Марджанишвили расчистил путь для дальнейшего роста и совершенствования грузинского драматического искусства.

В основном правильно оценивая деятельность К. Марджанишвили, А. Февральский называет его вслед за другими исследователями грузинского театра реформатором грузинской сцены.

Следующий период в истории театра имени Руставели связан с именем талантливого и волевого режиссера Сандро Ахметели, работавшего некоторое время под руководством, а затем и в содружестве с Марджанишвили. Один из лучших его учеников, Ахметели, встав во главе театра, задумал придать ему своеобразный творческий облик и направленность. Он мечтал о театре, отра-

жающем героиню будней советского народа.

Творческие искания и планы Ахметели остались незавершенными. Все сделанное им — только часть его возможностей. Поэтому делать общие выводы, давать окончательную оценку творчеству этого режиссера можно только с учетом исключительности его положения. Критику, взявшемуся осветить деятельность Ахметели и тот период в истории театра имени Руставели, который связан с его именем, необходима большая осторожность и, самое главное, доброжелательное отношение к его творческой практике. Иначе все сведется к повторению старых, несправедливых оценок его режиссерских работ, ныне совершенно изживших себя и отвергнутых самой жизнью.

Февральский признает за Ахметели талант, кипучий темперамент и желание искать новые пути в искусстве. Но несколько положительных и верных, критически справедливых суждений тонут в потоке отрицательных оценок, характеристик и прямых обвинений как идеологического, так и художественного порядка. В начале главы, освещающей период в театре, связанный с творчеством Ахметели, автор книги пишет: «... в результате недостаточной идейной подготовки Ахметели, при всем его искреннем стремлении строить советский национальный театр, в его концепциях и в его творческой практике объективно проявились тенденции буржуазно-националистического характера». Из этого декларативного заявления напрашивается следующее заключение: как бы искренни ни были стремления Ахметели, какими бы художественными достоинствами ни отличались работы этого талантливого режиссера, на каждом шагу его будут поджидать (помимо его воли и желания) и проявляться в его спектаклях «тенденции буржуазно-националистического характера».

В середине той же главы, касаясь спектакля «Ламара» в постановке Ахметели, Февральский расширяет, уточняет свою оценку его творчества. «...Ахметели, — читаем мы, — отвергавший старый грузинский театр, тем не менее поставил театр имени Руставели перед опасностью новой ограниченности, нацио-

нальной замкнутости — уже в ином плане, перед угрозой быть втиснутым в узкие рамки этнографизма, обособиться от советского театра в целом и переродиться в националистическом духе». А несколькими страницами ниже, разбирая одну из последних работ Ахметели „In tigranos!“ Февральский замечает: «Если в постановке «Тетнульда» были повторены некоторые пороки спектакля «Ламара», то в следующей крупной работе — в шиллеровском спектакле — театр обнаружил свою способность преодолевать эти пороки и идти по иному, плодотворному пути, на который он уже вступил в «Разломе», а затем в «Анзоре» — по пути создания большой социальной драмы». Или еще: «Значение спектакля („In tigranos!“ Э. Г.) было тем существеннее, что положительные результаты поисков национального сценического стиля на этот раз выдержали испытания при постановке произведения, столь далекого от грузинской специфики, как западноевропейская классическая пьеса».

Чем же объяснить такие противоречивые оценки творчества Ахметели и отказ от основных пунктов обвинения, предъявленного Ахметели — художнику, Ахметели — гражданину? Не следует ли думать, что формулировка, данная Февральским, носила априорный характер, и поэтому он не смог применить ее ко всем без исключения работам Ахметели? И ведь, действительно, трудно было обнаружить в спектакле „In tigranos!“ стремление постановщика втиснуть театр в «узкие рамки этнографизма» и таким образом «обособиться от советского театра в целом и переродиться в националистическом духе».

А. Февральский по-своему использовал то обстоятельство, что не всем деятелям искусства дано умение точно формулировать свои мысли, создать стройную, всесторонне обоснованную систему взглядов и художественных устремлений. Ахметели, как и многие другие режиссеры и деятели театра, не оставил теоретических книг или обширных статей специального назначения. Но из всего сказанного им в различное время — на встречах, в беседах, выступлениях перед советской общественностью

и особенно из анализа его постановок — можно составить совершенно определенное мнение о его творческих планах и достигнутых рубежах при их осуществлении.

Жюри олимпиады театров народов СССР, многочисленные представители прессы и общественности — Москвы, Ленинграда, Харькова, а также зарубежные гости давали очень высокую оценку искусству коллектива руставелевцев. Театру и его руководителям ставили в заслугу правильно найденную ими тему — романтически приподнятую, героическую, к которой театр пришел через освоение национальной и зарубежной классики.

Газета «Правда» предлагала показать искусство театра имени Руставели за границей, чтобы зарубежные зрители воочию убедились, какого подъема достигли национальные культуры в Советском Союзе.

Для автора же книги успехи театра этого периода, выдвинувшие его в первые ряды советских театров, не имели столь большого значения, как его неудачи. Иной раз, в силу необходимости, приводя положительный отзыв о спектаклях Ахметели, он тут же, на ходу, предлагает читателям отнестись критически к подобным высказываниям, находя в них «немало опрометчивого», так как в ту пору творческие победы театра имени Руставели довели над его ошибками, и их никто не хотел замечать. Но по прошествии трех десятков лет мог же создатель книги о театре имени Руставели спокойно и осторожно разобрать, как и подобает объективному критику, все творческое наследие Ахметели и только в результате такого кропотливого исследования делать выводы и заключения. Развернуто упорно искать и обнаруживать пороки художественно-мировоззренческого порядка в одной работе Ахметели — спектакле «Ламара», поставленном в 1930 году, то есть еще на полпути его деятельности, и затем распространять это частное заключение на все творчество режиссера, квалифицируя его как «буржуазно-националистическое» по своему идейному содержанию.

Если бы Февральский создавал свою книгу по пятам событий и не знал о будущих работах Ахметели,

то и тогда бы он не смог выдвинуть режиссеру подобного обвинения, так как по свидетельству самого же автора в 30-х годах в центре внимания общественности стояли успехи, а не ошибки театра. Сейчас же, 30 лет спустя, роль и значение спектакля «Ламара» в творческих опытах и исканиях Ахметели, казалось бы, не должны вызывать сомнения, ибо «Ламара» — только одно из звеньев, а не конечный пункт долгого пути режиссера.

„In tigranos!“ (а не «Ламара») завершал первый, «юношеский», как называл его Ахметели, этап в его художественном развитии. При этом он не собирался долго задерживаться на достигнутом, прекрасно понимая всю справедливость пожеланий критика, образно назвавшего театр имени Руставели тех лет «театром-воином», которому в самом ближайшем будущем следовало стать «театром-мыслителем».

Итак, логика фактов и их подлинное содержание привели автора книги к неизбежному выводу: если в деятельности Ахметели и замечались некоторые творческие отклонения, неровности, срывы, они принадлежали к прегрешениям художественного порядка и не имели ничего общего с коренными, глубокими, пагубными для дела идеологическими извращениями. Театр, по признанию Февральского, постепенно преодолевал свои заблуждения, ошибки и, выравнивая генеральную линию, следовал по плодотворному пути, намеченному еще в ранних работах Ахметели. Значит, театр шел верной дорогой и никакого другого пути следования у него не было.

Но в конце той же главы, оставаясь верным своему субъективному методу освещения и оценки фактов, Февральский вновь называет искусство Ахметели порочным и оправдывает его отстранение от руководства театром. Видимо, автор книги все еще находится в плену старых заблуждений и неверных толкований многих вопросов из истории грузинского театра, связанных с именем Сандро Ахметели. А между тем сама жизнь требует пересмотра, переоценки изживших себя формулировок и тенденциозных характеристик. Сделать это — актуальная, насущно необходимая и

неотложная задача грузинского театроведения.

Как известно, после ухода Ахметели из театра руководство им было поручено художественному совету во главе с Акакием Васадзе. Февральский отмечает его верность общей художественной направленности театра. Не отказавшись «от установки на создание героических спектаклей», руководители театра начали уделять больше внимания раскрытию идейной сущности пьес, усилению в них социальных мотивов. По мнению автора книги первый же спектакль нового сезона, был отмечен первой крупной победой, хотя «Платон Кречет» написан в «непривычном для него жанре психологической драмы».

Следует напомнить, что театр имени Руставели в силу своей специфики всегда ощущал затруднения при составлении репертуара и поэтому порою был вынужден обращаться к драматургии, мало отвечающей его художественным особенностям. Постановки таких пьес чаще всего не оправдывали возложенных на них надежд и, оставляя впечатление чужеродности, не удерживались в репертуаре, мало чем обогащали искусство театра и его творческих работников. «Платон Кречет» был именно таким спектаклем и поэтому утверждению Февральского, что театру в его сценической редакции удалось прочесть психологическую драму Корнейчука как произведение героико-романтического плана, является явной натяжкой автора книги. При всех своих литературных достоинствах пьеса украинского драматурга не давала материала для создания спектакля, близкого по духу лучшим постановкам театра. В летописях его художественной жизни постановки, подобные «Платону Кречету», не отмечались курсивом, они не предопределяли целых периодов в его истории и, прожив недолгую сценическую жизнь, уступали место другим работам. Кроме того, уезжая на гастроли в Москву летом 1936 года, руководство театра не сочло нужным включить его в гастрольную программу (и это этапный спектакль!), а предпочло восстановить и в третий раз показать московскому зрителю «Анзора», один из «порочных», по мнению автора книги, спектаклей Ахметели. Когда же

Февральский называет значительной другую работу того же сезона — «Арсен», это не вызывает ни у кого ни сомнения, ни удивления, ни тем более возражений.

За два десятка лет (1935 — 55 гг.) руководство театра в своих многочисленных постановках стремилось сохранить и обогатить новыми успехами творческие традиции театра. Вера в свои силы, знание возможностей коллектива, правильно понятая цель и направленность искусства приносили свои плоды. В противовес утверждению Февральского о снятии с репертуара «порочных» спектаклей Ахметели необходимо отметить, что в разное время лучшие работы Сандро Ахметели показывались зрителям — то как восстановленные, то как сохраненные со дня их первой постановки. Так, например, «Разлом» (1928 г.) не сходил со сцены театра вплоть до 50-ых годов, «Анзор» показывали в 1936 и 1939 годах во время летних гастролей, в течение нескольких сезонов в репертуаре театра удерживался «Чужой ребенок» Шкваркина, а „*In tirannos!*“ грузинский зритель увидел вновь в мае 1953 года.

Трудно, к сожалению, по книге А. Февральского определить также подлинный характер и масштабы творчества даже таких выдающихся актеров, как Акакий Хорава и Акакий Васадзе, хотя автор посвятил им немало страниц своего труда. Но дело ведь не только в том, насколько часто упоминается то или иное имя. Самое важное, самое трудное и самое необходимое — раскрыть сущность, смысл искусства данного художника сцены, проанализировать, в каких работах и почему актер достиг непревзойденных высот, а в каких нет. Февральский же, видимо, считает, что, признавая все работы актера выдающимися, он тем самым дает очень высокую оценку его творчеству. Но даже обладая большим талантом и феноменальным трудолюбием, художник (в данном случае актер) не может создавать одни только шедевры, никогда не ошибаться, не заблуждаться, не знать горечи поражения. Это — простая истина. Однако Февральский склонен приписывать Хорава и Васадзе одни только успехи и победы, касаясь их первых же шагов на сцене или периода становления их твор-

чества. В конечном итоге в его оценке все актерские работы этих талантливых мастеров сцены имеют одинаковое значение и художественную ценность. А где же рост, где юность, где зрелость таланта, где совершенствование мастерства, где зенит творчества? Для примера приведем оценку одной из ранних работ Хорава — роли Гарсиа Кривого, исполненной им в 1927 году: «Из небольшой роли цыгана Гарсиа Кривого, мужа Карменситы, Акакий Хорава создает глубоко эмоциональный и самый значительный в спектакле образ. Эту роль Хорава считает существенным этапом в своей артистической биографии, хотя она и далека от главной линии развития его творчества. Выступая в роли Гарсиа, он впервые почувствовал себя во всеоружии профессионального мастерства и раскрыл многогранный характер своего обуреваемого страстями героя».

Прежде всего из приведенных слов нельзя выяснить, как понимал Хорава образ Гарсиа и какие средства сценической выразительности использовал для донесения своего замысла до зрителей. Мне же хочется поспорить с автором книги и по другим вопросам.

Считает ли эту роль «существенным этапом» в творчестве Хорава только актер-исполнитель (как видно из текста) или же с ним согласен и автор книги? Если согласен, то почему он не ведет рассказ от своего имени, подтвердив его мнением актера? Если же нет, то вряд ли стоило приводить впечатление актера.

Далее, в 1927 году, то есть на заре своей актерской юности, Хорава уже «почувствовал себя во всеоружии профессионального мастерства» (опять субъективное ощущение актера). Как же он должен был себя чувствовать, создавая образ Отелло — вершину своего творчества? Может быть, тогда пойдет речь о сверхвооружении, а образ Гарсиа отделит от Отелло всего один шаг. Нет, это неправда. Это принижение художественной ценности Отелло — покоренного Казбека в творчестве Хорава. Таких ролей, как Гарсиа Кривой, Хорава было сыграно много, а Отелло был и остался для него единственным и непревзойденным.

Творчество актера можно сравнить с горной цепью, где наряду с высочай-

шими пиками встречаются и небольшие вершины и даже плоскогорья. И никогда размеры и масштабы гор и их отрогов не были бы столь поражающими наше воображение, если бы тут же рядом не пролегали глубокие ущелья, а линия гор не обрывалась перевалами или бездонной пропастью. Разве художественная ценность образов Отелло, Ивана Грозного, Арсена, созданных Хорава, не кажется еще более значительной в сравнении с такими менее значительными его работами, как Платон Кречет, Олеко Дундич или Джемал из «Потопленных камней»? Как же можно по достоинству оценить такие авторские победы А. Васадзе, как Франц, Яго, Пепия, если бы в списке сыгранных им ролей не были бы и более слабые работы — царь Ираклий («Во имя грядущего») и т. д.

Деятельность А. Васадзе и А. Хорава настолько многогранна, с их именами связано так много больших успехов и достижений, что нет никакой необходимости приукрашивать их неудачи, возводя таковые в ранг побед, творческой доблести.

В заключение необходимо сказать несколько слов об архитектонике и методе изложения книги. Не все периоды истории театра освещены равномерно. Больше внимания уделено первым разделам книги — событиям,

происшедшим до 1948 года, остальные же годы представлены очень бледно, неинтересно, предельно скупо. По книге Февральского (особенно по заключительной главе) нельзя узнать не только того, что делает в театре Народный артист Союза ССР Серго Закариадзе, но и вообще работает он там или нет. А ведь искусство С. Закариадзе заслужило всеобщее признание. Очень неполное представление дает книга также о деятельности главного режиссера театра Дмитрия Алексидзе, о режиссере Михаиле Туманишвили, о художнике Парнаозе Лапиашвили и других.

Трудно согласиться и с подходом к ряду спектаклей театра, и с их разбором. Не всегда должного внимания удостоиваются те постановки театра, которые имели первостепенное значение в его развитии.

Кроме уже указанных, в книге много еще других противоречий, неточностей, фактических ошибок, преувеличений и недооценок. Обо всех них нет возможности говорить в пределах одной статьи, но, как известно, ошибки поучают, и нужно думать, что все недостатки книги А. Февральского будут учтены в будущем капитальном труде о театре имени Руставели, которого с большим нетерпением ждут деятели и почитатели грузинского театрального искусства.

Захарий Швелидзе

СТУДЕНТЫ — БОЛЬШЕВИКИ

Одной из партийных организаций, борющихся за свержение меньшевистского режима и установление в Грузии Советской власти была студенческая большевистская ячейка Тбилисского университета.

Единственным печатным материалом об этой организации явилась статья известного революционера В. Гегешидзе «Первая комячейка в Тбилисском государственном университете», опубликованная в журнале «Революция и матианэ» (1928 г., № 1). Воспоминания В. Гегешидзе и других участников событий тех лет, бывших членов большевистской ячейки, которых удалось разыскать, помогли нам восстановить историю оформления и деятельности этой организации.

Университет в Тбилиси был учрежден в мае 1917 года. В сентябре 1918 года на единственный тогда факультет — историко-филологический в числе прочих студентов были зачислены Григорий Махарадзе, Вано Кванталиани, Спиридон Кикачейшвили, Валико Гегешидзе, Патулия (Фати) Харебава, Ладо Лежава, Константин Стуруа. Все они, прибывшие из разных районов Грузии, имели уже опыт революционной работы и тотчас же по зачислении приступили к подготовке почвы для создания большевистской организации. «Трудно было организовать комячейку, но возможность для этого все же была... — вспоминает С. Кикачейшвили. — Под руководством Гр. Махарадзе и В. Гегешидзе студенты-большевики объединились в две маленькие группы, которые даже не знали друг друга».

В этот период в университете появились большевистские прокламации. Правительственный «особый отряд» тотчас же нагрянул в университет с обыском — для обнаружения «виновных». Удалось или нет «особому отряду» захватить

какие-либо материалы — осталось неизвестным. Во всяком случае арестов не последовало. Тем не менее, видимо, не без вмешательства студентов-большевиков, руководство университета направило министру внутренних дел протест против нарушения «особым отрядом» автономных прав университета.

Вскоре после этого студенты-большевики объединились, создав довольно сильную большевистскую организацию. В этом деле решающую роль сыграл известный большевик Малакия Торошелидзе, который и ранее был связан с Гр. Махарадзе, знал также В. Гегешидзе и С. Кикачейшвили по их революционной работе в Самтредиа.

М. Торошелидзе, как вспоминает В. Гегешидзе, предварительно договорился об объединении с Гр. Махарадзе, а Гр. Махарадзе лично познакомился с В. Гегешидзе и предложил ему объединить обе группы. Ноябрьским вечером в квартире Л. Лежава на бывшей Феодосиевской улице собралось девять студентов-большевиков, и было проведено первое организационное собрание университетской большевистской ячейки.

Организация быстро росла. На последующем собрании присутствовало уже 13 студентов. Членами большевистской ячейки были Гр. Махарадзе, В. Мдинадзе, Ак. Урушадзе, Ак. Татаришвили, В. Гегешидзе, Л. Лежава, Патулия Харебава, С. Кикачейшвили, К. Стуруа, В. Лежава, В. Кванталиани, Т. Кечахмадзе, Г. Нуцубидзе, Лида Гасвиани и другие.

Тбилисский комитет РКП(б), понимая всю сложность революционной работы в университете, оказывал всемерную помощь организации. Для проведения лекций и теоретических семинаров в ячейку направлялись Тбилисским комитетом опытные революционеры — Малакия Торошелидзе, Александр Еркомайшвили, Ражден Каладзе; по вопросам текущей

политики часто выступал Ал. Еркомайшвили. В ноябре 1918 года на собрании большевиков-студентов, созванном на квартире Л. Лежава, с докладом о текущем моменте в Советской России и в революционном Баку выступил недавно вернувшийся из Баку видный большевик Георгий Стуруа.

Члены университетской большевистской организации, несмотря на установленный меньшевистской диктатурой строгий режим, выполняли все указания Тбилисского комитета и вели плодотворную революционную работу не только в университете, но и среди рабочих предприятий города и в воинских частях; со специальными заданиями они выезжали в разные районы и села Грузии, организуя трудящиеся массы для участия в социалистической революции Грузии.

В. Гегешидзе, Патулия Харебава, С. Кикачейшвили и другие студенты-большевики распространяли прокламации среди немецких солдат, которые были размещены близ университета, старались революционизировать отдельных солдат¹.

Когда в Грузию пришли английские интервенты, члены большевистской организации университета повели такую же работу и среди английских солдат. Патулия Харебава вспоминает, как однажды во время распространения прокламаций она попала на глаза английскому офицеру. Несмотря на все его «джентльменство», офицер погнался за ней и с такой силой стегнул ее плетью по спине, что у нее на всю жизнь остался глубокий шрам.

Студенты-большевики вели большую революционную работу и среди солдат грузинской меньшевистской воинской части.

Когда в декабре 1918 года началась братоубийственная армяно-грузинская война, большевистские организации Грузии, в том числе и университетская, решительно выступили против шовинистической политики меньшевиков.

Насильно мобилизованные в армию большевики-студенты В. Гегешидзе, С. Кикачейшвили и другие и там продолжали революционную работу. Им удавалось установить связь с солдатами, распространять прокламации, вести пропаганду интернационализма в противоположность шовинистической пропаганде меньшевиков.

Для меньшевиков-офицеров не осталась незамеченной деятельность В. Гегешидзе и С. Кикачейшвили, но, видимо, опасаясь возможного волнения и протеста со стороны солдат, они ограни-

¹В. Гегешидзе. «Первая коммюнистическая ячейка в Тбилисском государственном университете».

чились только тем, что досрочно их демобилизовали.

Члены университетской большевистской ячейки были связаны и с другими коммюнистическими ячейками, участвовали в проводимых Тбилисским комитетом РКП(б) мероприятиях — в организации митингов, собраний, направленных на разоблачение предательской политики меньшевиков и на революционную организацию народных масс.

Студенты-большевики В. Гегешидзе и К. Стуруа поддерживали связь с парторганизацией первого района Тбилиси (на бывшей Черкезовской улице), в которой, в основном, были объединены железнодорожные рабочие. Они присутствовали на собраниях этой организации; вместе с известными революционерами Г. Ртвеладзе, С. Закрадзе и с другими большевиками изучали революционную литературу, в том числе труд В. И. Ленина — «Государство и революция».

Весной 1919 года университетские большевики приняли участие в заседании Тбилисского Совета рабочих и солдатских депутатов.

По поручению Тбилисского комитета они провели значительную работу в апреле 1919 года, когда меньшевики старались торжественно отметить годовщину объявления «независимости» Грузии. Ладо Лежава, который был связан с рабочей большевистской ячейкой на бывшей Молоканской улице, вспоминает об этих днях: «В канун годовщины объявления меньшевиками независимости Грузии члены ячейки получили задание распространить прокламации на улицах Тбилиси. Мне и Камалову (рабочий завода) предложено было распространить прокламации на проспекте Руставели и в резиденции меньшевистского правительства (нынешний Дворец пионеров). Такой риск не был шуточным делом. Там же во дворце помещался штаб гвардии, и гвардейцы с большой осторожностью стерегли дворец. Нам удалось тайно проникнуть во дворец. Камалова я оставил внизу для охраны, а сам прокрался во второй этаж и прямо на дверях учредительного собрания расклеил прокламации».

В мае 1919 года, когда большевистские организации приступили к подготовке всеобщего вооруженного восстания, В. Гегешидзе и С. Кикачейшвили выехали в Самтредиа. Позднее, со специальным поручением из Тбилиси в Кутаиси направляется студент-большевик Л. Лежава.

«В сентябре 1919 года, — вспоминает Л. Лежава, — Климентий Бокерия передал мне прокламации для распространения в Кутаиси; одновременно с этим я должен был ознакомиться с местной партийной работой. По приезде в Кутаис я установил связь с Миха Цхакая,

который тогда лежал в военном госпитале (сюда он был переведен из тюрьмы). Миха сказал мне, с кем я должен был повидаться, в то же время дал мне советы и наставления. После этого я разыскал Мишу Бахтадзе и одного товарища, который работал в парикмахерской около Красного моста (фамилию не помню), которому я передал «хурджини» с прокламациями».

Во время подготовки всеобщего вооруженного восстания 1919 года, особенно же после его поражения, в Грузии усилилась меньшевистская реакция. В разное время арестовали и посадили в Метехскую и Кутаисскую тюрьмы В. Кванталиани, Л. Лежава, Г. Квачадзе, С. Кикачейшвили, С. Дарахвелидзе, В. Гегешидзе, Гр. Сванидзе, К. Яшвили. Но несмотря на это, университетская большевистская организация продолжала существовать.

После репрессии уцелевшие от ареста студенты-большевики — Патулия Харебава, Акакий Татаришвили, Лида Гасвани и другие с большой осторожностью и конспирацией восстановили университетскую большевистскую организацию, одним из руководителей которой стала сама П. Харебава.

Студенты-большевики пользовались всевозможными легальными и нелегальными средствами борьбы. В марте 1920 года члены ячейки от имени сочувствующих студентов написали в студенческое правление заявление, в котором требовали от правления ходатайствовать перед министерством внутренних дел об освобождении арестованных студентов. Под давлением большевистски настроенных студентов, правление вынуждено было внести соответствующее постановление.

Патулия Харебава установила связь между Тбилисским комитетом и заключенными в тюрьмы революционерами,

передавала им указания комитета партии, информировала их о положении дел в стране и т. д.

На основании заключенного в мае 1920 года соглашения Советской России с меньшевистской Грузией, члены университетской большевистской организации были амнистированы, однако всех их исключили из университета. Вскоре начались новые репрессии. На этот раз первой была арестована Патулия Харебава, которая находилась в то время в Сенакском уезде со специальным поручением Грузинского большевистского центра. Арестованную там П. Харебава направили в Тбилиси, но в дороге ей удалось бежать. Приехав в Тбилиси, она явилась в Полпредство к товарищам С. Кирову и С. Кавтарадзе. И при их содействии осталась в Тбилиси на нелегальном положении, чтобы продолжать революционную работу.

В декабре 1920 года меньшевики разгромили редакцию большевистской газеты «Комунисти» и вместе с другими арестовали работников редакции — студентов Тбилисского университета, революционеров В. Гегешидзе, С. Кикачейшвили, С. Папава и других. Вместе со студентами Теофиле Кечахмадзе, Галактионом Нуцубидзе, арестованными ранее, их сначала поместили в Метехскую тюрьму, а потом переправили в Кутаисскую тюрьму. Там вместе с Мамиа Орахелашвили, Малакием Торошелидзе, Ваном Стуруа, Тенгизом Жгенти, Марией Орахелашвили, Миха Цхакая, Сергеем Кавтарадзе, Ражденем Каладзе, Сандро Эули и с другими старыми большевиками они просидели вплоть до 1921 года, когда восставший грузинский народ при помощи XI Красной Армии свергнул меньшевистское правительство и установил в Грузии Советскую власть.

Подписано в печати 20 ноября 1961 г. 6 печ. листов + 2 вкл.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆.

Заказ № 1163

Тираж 2.500

УД 08793

Цена 40 коп.

გურნალი „ლიტერატურნია გრუბია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ზარია ვოსტოკა“

Типография «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова издательства
ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, № 42.

18 9/68

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ЖУРНАЛ

„Литературная Грузия“

(НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

знакомит читателей с лучшими произведениями прозаиков и поэтов Грузии, печатает стихи, повести и рассказы писателей Москвы, Ленинграда, братских республик Советского Союза и прогрессивных зарубежных авторов, а также очерки о строителях коммунизма, тружениках семилетки, литературно-критические статьи и рецензии на новые книги; ведет разделы «Искусство», «Спорт» и др.

В 1962 году в журнале будут напечатаны следующие произведения:

АКАКИЙ БЕЛИАШВИЛИ. «Швидкаца». Повесть. Часть 3 и 4.

РОСТОМ БЕЖАНИШВИЛИ. «Будем до конца откровенны». Роман.

ОРДЭ ДГЕБУАДЗЕ. «Похищение богородицы», «Королева зари». Из записок следователя.

КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ. «Волшебный камень». Роман.

ВАХТАНГ ЧЕЛИДЗЕ. «Жизнь без конца». Исторический роман.

ЕВГЕНИЙ ЗАКЛАДНЫЙ. «Проснитесь, люди!». Научно-фантастическая повесть.

МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ. «Неизвестный». Роман.

ЮРИЙ НАГИБИН. «Рассказы о Грузии».

ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН. «Мальчик пляшет под дождем». Повесть.

НАДЕЖДА ЖИВОКИНИ-МАРДЖАНИШВИЛИ. «Воспоминания о Котэ Марджанишвили».

НОВЫЕ РАССКАЗЫ

Константинэ Гамсахурдиа, Николая Тихонова, Демны Шенгелая, Георгия Натрошвили, Анатолия Кузьмичева, Элизбара Зедгинидзе, Ивана Папаскири, Георгия Дзугаева, Фридона Халваши, Отиа Иоселиани и др.

ЦИКЛЫ СТИХОВ

Галактиона Табидзе, Ладо Асатиани, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Павла Антокольского, Алио Мирцхулава, Ираклия Абашидзе, Карло Каладзе, Алекси Гомиашвили, Ивана Тарба, Гафеза, Евгения Евтушенко, Отара Челидзе, Беллы Ахмадулиной.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАН

рисунками Ладо Гудиашвили, С. Кобуладзе, И. Гурро, Т. Мирзашвили, Д. Эристави, Д. Нодия, Т. Самсонадзе, З. Нижарадзе, З. Церетели и др.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ“

Подписная цена:

на год — 4 руб. 80 коп.

на 6 мес. — 2 руб. 40 коп.

Подписка принимается во всех отделениях «Союзпечати».